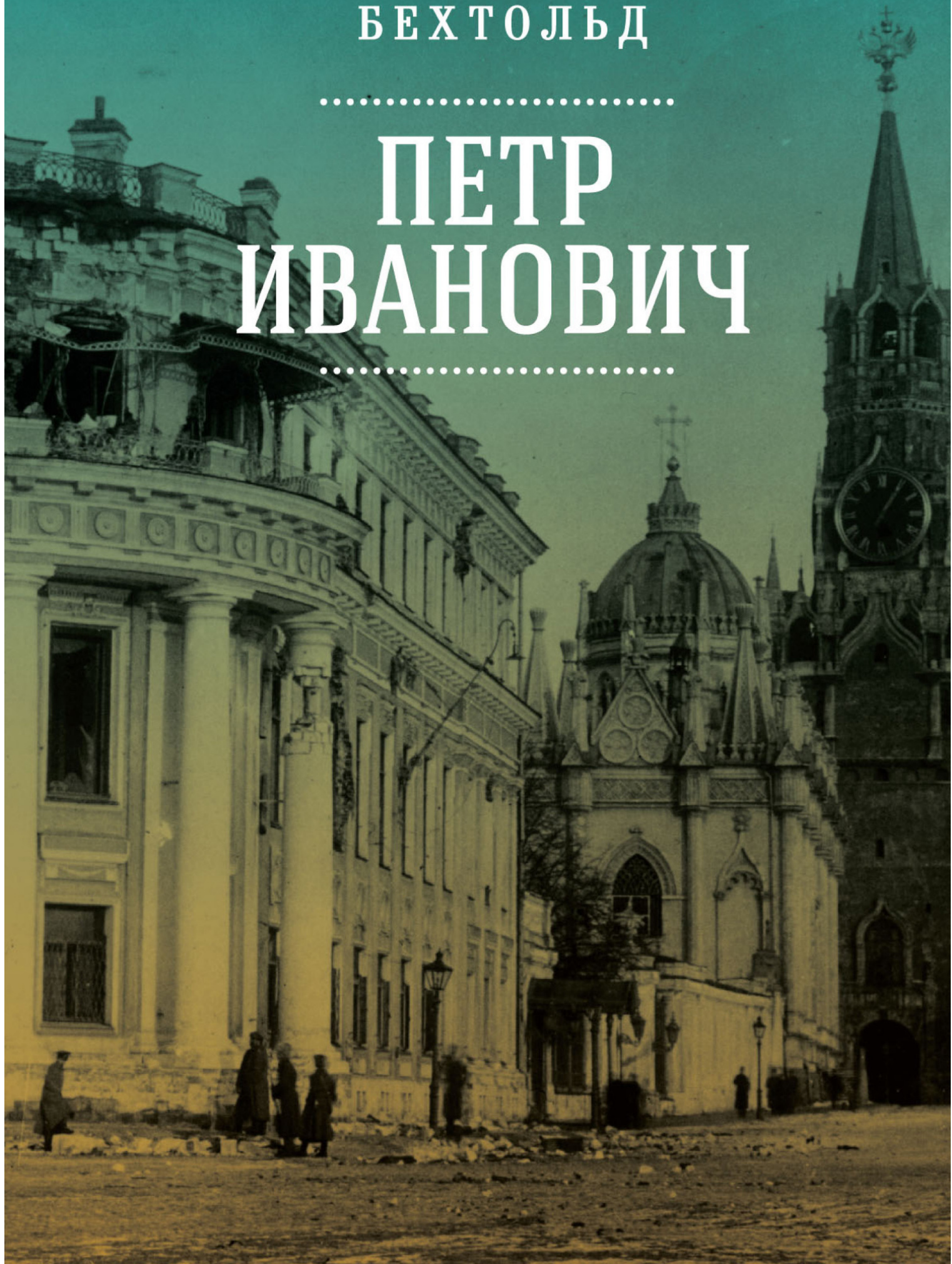


Альберт
БЕХТОЛЬД

.....

ПЕТР
ИВАНОВИЧ

.....



Альберт Бехтольд
Петр Иванович

«Алетейя»

1950

Бехтольд А.

Петр Иванович / А. Бехтольд — «Алетейя», 1950

ISBN 978-5-906980-51-9

Альберт Бехтольд прожил вместе с Россией ее «минуты роковые»: начало Первой мировой войны, бурное время русской революции. Об этих годах (1913–1918) повествует автобиографический роман «Петр Иванович». Его главный герой Петер Ребман – alter ego самого писателя. Он посещает Киев, Пятигорск, Кисловодск, Брянск, Крым, долго живет в Москве. Роман предлагает редкую возможность взглянуть на известные всем события глазами непредвзятого очевидца, жадно познававшего Россию, по-своему пытавшегося разгадать ее исторические судьбы. Как и все творчество А. Бехтольда, эта книга – очень личное свидетельство, в котором почти нет вымысла. Роман помогает читателю не только ближе узнать Россию революционной поры, но и заглянуть в душу молодого швейцарца, осмысливающего свою кровную связь с родной землей и непростые отношения с новой родиной.

ISBN 978-5-906980-51-9

© Бехтольд А., 1950

© Алетейя, 1950

Содержание

Предисловие переводчиков	6
По следам Альберта Бехтольда	8
Книга I	10
Глава 1	10
Глава 2	16
Глава 3	20
Глава 4	25
Глава 5	30
Глава 6	39
Глава 7	49
Глава 8	58
Глава 9	60
Глава 10	64
Глава 11	69
Глава 12	82
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Альберт Бехтольд Петр Иванович

© Е. Холодова-Руденко, перевод, 2017

© С. Саржевский, перевод, 2017

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017

Предисловие переводчиков

Роман Альберта Бехтольда «Петр Иванович» ждал своего издания на русском языке 67 лет: он впервые вышел в оригинале в Шафхаузене (Швейцария), в родном кантоне писателя, в 1950 году. Но автобиографическое повествование относится к событиям столетней давности: на это указывает подзаголовок романа – «Годы русской революции». Тут следует заметить, что все творчество Бехтольда, а это дюжина романов, является своего рода развернутой автобиографией. Однако автор предпочитает скрываться под маской своего alter ego – Петера Ребмана. Таким образом, сам Бехтольд как будто выступает не сочинителем романизированной автобиографии, а биографом своего героя, в самом имени которого заложена отсылка к малой родине писателя – к винодельческому селу Вильхинген, что в кантоне Шафхаузен. Слово «реб» на местном наречии означает виноградную лозу. Ребман, человек лозы, будучи, как и сам Бехтольд, неутомимым путешественником-космополитом, вместе с тем несет на себе печать укорененности в деревенском мирке; и, будучи полиглотом, одновременно является верным носителем родного говора.

Видный швейцарский литературовед профессор Адольф Мушг так отзывался о Бехтольде-писателе: «Он был современником Уильяма Фолкнера и Жана Жионо, чьи романы ассоциируются с определенными ландшафтами – американским Югом и Провансом соответственно. Бехтольд-рассказчик предлагает вам напиться чистой воды из родных ему источников. Он пишет на своем шафхаузенском, а точнее сказать, вильхингенском диалекте. В итоге, несмотря на то, что вышло в свет многотомное собрание его сочинений, мировому читателю творчество Альберта Бехтольда остается недоступным»¹. Исследователь считает, что Бехтольд, как и все пишущие на так называемых «малых» языках, вынужден выступать полиглотом и послом поликультурности. Обстоятельства жизни писателя сформировали его как гражданина мира, воспевшего вселенную на местном диалекте: «*Мундарт*, вместо того, чтобы быть языком, обреченным на литературное забвение, представляется образом жизни, обучающим искусству бережной экологической передачи явлений духовной реальности во времени»².

Здесь речь идет о диалекте швейцарского немецкого, который, тем не менее, стараниями местных писателей сделался литературным языком. Произведения, созданные на нем, с публикацией этого перевода, насколько нам известно, впервые становятся доступными русскоязычному читателю.

Во всех своих романах Альберт Бехтольд рассказывает о себе, а точнее, наблюдает себя. Это делает личную историю почти интимной. Но «Петр Иванович» описывает тот период жизни, в который он становится очевидцем действительно грандиозных исторических событий, «дней, которые потрясли мир». Мы имеем дело с парадоксом – глубоко личным и, именно поэтому, глубоко достоверным и беспристрастным свидетельством.

Ребман-Бехтольд по обыкновению наблюдает за собой, но вынужден делать это в исключительных обстоятельствах: на фоне небывалых общественных потрясений, вызванных Февральской революцией и Октябрьским переворотом 1917 года.

Следует отметить, что за пять лет своего пребывания в Российской империи Ребман успел полюбить «свою Россию». Поначалу он искренне пытается понять и оправдать ту новую страну, которая рождается на его глазах. Но как швейцарец, а, следовательно, убежденный сторонник демократии и личных свобод, эволюции в противовес революции, он не может принять происходящее. При этом он неизбежно разделяет убеждения и судьбу определенных слоев российского общества, принесенных в жертву «новым идеям», а поэтому лишенных права исто-

¹ «Z Kiew redt me Mundaart» Albert Bächtolds phantastische Reise www.albertbaechtold.ch

² Там же.

рического голоса. С другой стороны, он постоянно ощущает, что никогда не станет частью приютившего его общества, хотя и усвоил его привычки и мнения. Сторонний наблюдатель по натуре, он и здесь остается верным себе, представляя на наш суд свой особый подробный отчет о том, чему стал непосредственным свидетелем.

Работая над переводом, мы имели возможность убедиться, что Бехтольд предельно точен и аккуратен в своем описании мест, событий, людей, их речи, мельчайших деталей быта. Приехав в Россию, он стал членом швейцарской общины, о жизни и деятельности которой широкому кругу читателей мало известно отчасти еще и потому, что немецкоязычных швейцарцев обычно отождествляли с немцами. Между тем, швейцарские колонисты занимали в российском обществе свое особое место. Их история еще ждет своего исследователя. Роман «Петр Иванович» может послужить отправной точкой для таких изысканий.

Бехтольд не просто пишет на диалекте – он передает на письме звучание устной речи, мощно используя ее разговорный, сказовый лад. Ближайшие аналогии такому дискурсу можно отыскать в подлинных фольклорных записях. В русской литературе этот стиль находим в сказках Бажова. Именно таким языком пользуется Швейк в своих «нелепых» рассказах «из народной жизни». В оригинале роман звучит, скорее, как пересказ романа, услышанный где-нибудь в швейцарской придорожной кнайпе в компании случайных попутчиков.

Однако действие романа «Петр Иванович» разворачивается в полном соответствии с классическими законами этого жанра. К тому же, в нем описывается культурная среда с присущими ей особенностями речи, соответствующими тогдашним представлениям о языковой норме. Именно таким языком пользовался и сам Альберт Бехтольд, именно ему пытался подражать, его звучание пытался передать уже швейцарскому читателю в своеобразной транскрипции. Поэтому, выбирая стиль перевода, переводчики искали образцы в русской литературе того времени, у писателей, которых Ребман-Бехтольд, по его собственному признанию, читал в молодости и перечитывал до конца жизни. Тем не менее, мы, по возможности, старались сохранить все яркие особенности неповторимого бехтольдовского стиля.

Роман «Петр Иванович» всегда был самым известным и любимым произведением писателя. В связи со столетней годовщиной начала Первой мировой войны интерес к этой книге вспыхнул с новой силой. В 2015 году по мотивам романа Кристиной Рудольф был снят художественно-документальный фильм «В Киеве говорят на *мундарт*». К столетию русской революции Фонд Альберта Бехтольда принял решение осуществить издание романа на русском языке. Все участники этого проекта от души надеются, что таким образом осуществится всегдашняя мечта писателя снова вернуться в Россию.

Елена Холодова-Руденко
Сергей Саржевский

По следам Альберта Бехтольда

Уже более ста лет прошло с тех пор, как двадцатидвухлетний Альберт Бехтольд весной 1913 года выехал из швейцарского Шафхаузена в Киев, чтобы занять должность домашнего учителя в дворянском поместье, расположенном в Малинском уезде Киевской губернии. В огромной Российской империи царь еще обладал неограниченной властью, однако на политическом горизонте уже угадывались контуры Первой мировой войны. Ко времени объявления войны в августе 1914 года Альберт Бехтольд уже служил в богатой купеческой семье в Брянске, с которой как раз находился на летнем отдыхе в Крыму, в Алушке. В 1915 году он оставил и это место, и отправился в Москву. Там он нашел приют в семье швейцарского пастора, получив место органиста в тамошней реформатской церкви. Вскоре он сменил и эту профессию, освоив азы коммерции в международной торговой компании.

Между тем вера в скорое окончание войны развеялась, а экономическое положение постоянно ухудшалось. В 1916 были спровоцированы погромы немецких торговых предприятий, приведшие к значительным убыткам и разрушениям. Весной 1917 император Николай II отрекся от престола. В результате Февральской революции к власти пришло Временное правительство под председательством А. Керенского. После прибытия Ленина в Петроград и последовавшего за этим Октябрьского переворота 1917 года власть в Москве захватили большевики, свое господство они утверждали наводящими ужас методами пресловутого «красного террора». Альберт Бехтольд прекратил свою легальную коммерческую деятельность и вынужден был перебиваться перепродажей табачных изделий на черном рынке. Арест с последующим допросом в ЧК убедил Бехтольда в том, что в стране ему больше нет места. И когда Ленин в качестве благодарности Швейцарии за оказанное ему в свое время гостеприимство позволил всем швейцарцам, желающим вернуться на родину, сформировать эшелоны и беспрепятственно покинуть Советскую Россию, Альберт Бехтольд тоже оказался в числе пассажиров. Осенью 1918 в Базеле он вновь ступил на швейцарскую землю.

Проведя первую половину своей сознательной жизни в беспрестанных путешествиях, Альберт Бехтольд после 1935 года посвящает себя литературной деятельности и становится известным автором, пишущим на вильхингенском диалекте. Темой произведений писателя становится его собственная биография. Он автор более двенадцати автобиографических романов.

В 1950 году вышел в свет двухтомный роман под русским названием «Петр Иванович», повествующий о годах, прожитых в России во время революционных потрясений. В этой книге очень мало вымышленного, зато все описания очень точны и подробны, так что, когда мы с женой в 2004 году предприняли исследовательскую поездку по следам А. Бехтольда в Украину и Россию, его роман послужил нам очень надежным путеводителем.

Меня лично особенно тронул момент, когда я смог сесть за орган на ту самую скамью органиста, на которой за 90 лет до этого сидел молодой Альберт Бехтольд. Протестантская церковь в Трехсвятительском переулке в Москве действует до сих пор: теперь она принадлежит баптистской общине.

Мне не было еще и двадцати лет, когда я впервые взял в руки книгу, написанную Альбертом Бехтольдом. Она говорила со мной на родном языке, рассказывала о моих родных местах, знакомых мне людях. Потом мне посчастливилось познакомиться и с самим автором, и даже стать его другом. Со временем я и сам попробовал свои силы на литературном поприще, тоже стал писать на вильхингенском диалекте. После смерти А. Бехтольда я решил послужить делу сохранения и популяризации его наследия.

Когда-то роман «Петр Иванович» открыл мне Россию, теперь я счастлив от того, что русский читатель сможет открыть для себя замечательного швейцарского автора, некогда жившего в России и навсегда полюбившего ее.

Ханс Ритцманн

Писатель, председатель Фонда Альберта Бехтольда

(Вильхинген, Швейцария)

Книга I

Глава 1

– Что это с ним, неужели заболел? У него щеки раздулись, как у кавалерийского трубача!

– А выражение лица, словно у запертого в клетке льва, и на нас вообще не обращает внимания, чем мы тут заняты, не говорит «запишите» и никого не вызывает к доске.

– Да, – говорит одна из девочек, – и зачем он все время достает голубое письмо и делает во-о-от такие глаза?

– И после школы сразу бежит домой, запирает двери, садится за стол и снова перечитывает все то же письмо! Марта Хафнер видела собственными глазами, ведь она может из своего дома заглянуть прямо к нему в комнату.

– С чего бы? – закрывая ладонью рот, отозвалась Фридли, старшая в классе, которая из себя все время взрослую строит. – Потому что он влюбился, вот почему! Все влюбленные таковы. Мы-то уж точно знаем: взять хоть нашу Луизу, ее можно унести на Луну, а она и не заметит. Это наверняка письмо от милой, и бумага – такая голубая... Смотрите, вот он опять его достает!

И точно, молодой учитель сел за письменный стол, достал голубое письмо и, как и говорила Фридли своей соседке, принялся читать с во-о-от такими глазами.

На самом деле письмо – деловое, от директора учительской семинарии города Шафхаузена, что на Рейне³. Оно ожидало господина младшего учителя в прошлый понедельник, когда тот в одиннадцать часов вышел из школы и заглянул в свой почтовый ящик. И вот уже три дня кряду это письмо не дает ему покоя. Теперь только это злополучное послание целиком занимает все его мысли, так что бедняга даже не может толком вести урок. Он не в силах оторвать от заветного голубого листка ни глаз, ни пальцев: раскроет, перечтет, отложит вновь. Ожившие строчки, написанные знакомым убористым почерком, преследуют его и днем, и ночью, внезапно возникают и тут же принимаются прыгать и плясать перед глазами:

«Дорогой господин Ребман!

Во время моего визита к Вам в Ранденталь Вы дали понять, что не рассматриваете свое нынешнее место работы как постоянное и все еще думаете о продолжении учебы. И вот я хотел бы предложить Вам возможность расширить свой профессиональный кругозор и познакомиться с иными формами педагогической деятельности.

Речь идет о месте гувернера в дворянской семье за границей, на которое Вы могли бы претендовать.

Надеюсь, Вы не откажетесь нанести мне визит для обсуждения этого вопроса в ближайший свободный от уроков день.

С дружеским приветом,

Ваш Альфред Ной».

Вот что может натворить простое письмо! Несколько граммов бумаги, капля чернил, десятикопеечная марка с сургучным штемпелем – и вот вам революция!

Воспитатель в дворянской семье! Такого шанса наверняка не выпадало еще ни одному школьному учителю из Ранденталья! И надо же было судьбе поставить ставку именно на него, Ребмана, которого товарищи по гимназии так кстати прозвали Скакуном. Некогда на испытаниях он был на волосок от провала, а теперь вдруг взял да и выиграл главный приз!

³ Далее Рейнгород (прим. переводчика).

– Да пишите же дальше, это вас никак не касается!

Наконец-то он вспомнил об учениках.

Ребман снова читает письмо. Бормочет:

– Мог бы и прямо указать, где и у кого. С этими учеными мужами всегда одна и та же история: непременно забудут о самом главном.

Он вдруг подумал, что всегда внутренне противился перспективе стать школьным учителем. Еще в те времена, когда приснопамятный дядюшка Фогт после долгой борьбы наконец сказал «да», дескать, он, как опекун, согласен на обучение Петера, но только при условии, если тот впоследствии станет учителем. Тогда Ребман еще утешал себя: мол, до этого еще далеко. До последней минуты, уже после экзаменов, он все надеялся, что случится чудо и ему не придется определяться на место учителя начальных классов. Но пробил час, когда уже некуда было деваться, ибо начальник общежития однажды объявил:

– Вам теперь надо поторапливаться, господин Ребман, с вечера следующего воскресенья ваша комната отдана другому!

Только после этого он соблаговолил пошевелиться и подал заявление в надежде, что его не выберут. Но тут действительно случилось чудо: по рекомендации учителя химии студента Ребмана все-таки утвердили на должность младшего учителя начальной школы в Рандентале.

Когда он накануне первого дня учебы вечером прибыл на место службы со своим бельевым ящичком под мышкой, к нему на деревенской околице обратился старый крестьянин со словами:

– Кажется, вы новый учитель? Добро пожаловать!

– Вы угадали, – отвечал Ребман.

Старик признался:

– Сначала я хотел голосовать против, когда услышал, что вы только что из семинарии. Молодым господам не очень-то нравится надолго задерживаться среди нас, мужиков, они уже подпоясываются в дорогу, даже толком не обжившись в селе. В лучшем случае они остаются до тех пор, пока не заработают на новый костюм. Хочется надеяться, что вы будете достойны этой чести – вас ведь выбрали единогласно – и не убежите отсюда сразу же, как только минут два испытательных года.

На это Ребман пожал ему руку: он не из тех, кто бросает других на произвол судьбы!

И вот теперь он, учитель, утвержденный на полную ставку всего четырнадцать дней назад более чем ста голосами «за» и только парой «против», бежит, несмотря на то, что после выборов объявил во всеуслышание, что не уедет и, какое бы теплое место ему ни пообещали, не соблазнится.

В четверг, сразу пополудни, учитель Ребман отправляется в Шафхаузен, вспоминая, как он впервые спустился в эту долину со своим бельевым ящичком под мышкой. Тогда он еще подумал, что из этого ничего не выйдет. Он вообразил, что находится на самом краю земли. И когда наконец показались два ряда домов, зажатых в гряде крыш, и совсем крошечные лоскутки неба над ними, ему послышался насмешливый голос Майора: ах, бедняга сосед, ну и бедняга!

С тех пор он уже столько раз проделывал этот путь в город и обратно, что мог бы пройти его с закрытыми глазами. Во всякую погоду и в любом настроении ходил туда и обратно, но никогда еще не бывало ему так радостно. Всю дорогу он поет. Подскакивает на ходу, как силач Готфрид из Кирхдорфа-Вильхингена⁴, когда тот бежал, боясь опоздать к началу праздничной службы. Запрыгивает на забор и тут же соскакивает на землю. Идущий по дороге служивый кричит ему вслед:

⁴ Родную деревню автора, Вильхинген, называли еще и Кирхдорф из-за большой церкви, что возвышалась над всей округой (прим. переводчика).

– Можно подумать, что вы вытащили счастливый билет, господин учитель!

В пути он пытается вообразить себе то, что же его ожидает, а уж в этом деле он мастер.

Место у индийского махараджи!

У английского лорда!

В семье испанского герцога!

О чем-то поскромнее не может быть и речи.

И это место, конечно же, только трамплин. В качестве друга благородных господ он будет представлен ко двору, так сказать, станет для всех открытием. Получит должности и почести. Сделается министром, правой рукой самого суверена! И когда он в зените славы снова вернется на родину, всякий ему будет кланяться до земли. Разумеется, о его заслугах будут писать все газеты, везде станут трубить о его триумфальном восхождении по ступеням карьерной лестницы, внушая священный трепет обывателю: «Пророк вернулся в свое отечество, нашу страну всегда покидают лучшие силы, а мы каждый раз наступаем на те же грабли!»

Ребман пробирается сквозь заросли и выходит на торную дорогу пыльной окраины.

Теперь ему уже не придется в холод и непогоду ходить пешком. И быть запертым в тесной классной комнате с полусотней учеников. Еще ребенком он боялся: только бы его не заперли где-нибудь в тесном садике переполненного интерната для бедных, где на прогулке тебе все время кто-нибудь наступает на пятки. «Как же хорошо птицам, – думал он тогда, – вот бы и мне отрастить крылья и улететь восвояси: «Wenn ich ein Vöglein wär...»⁵

Ему не придется больше жить в лачуге, с доской под кроватью, закрывающей дыру в полу, чтоб не упасть и не провалиться в хлев. Ведь он с пятнадцати лет мучился в ожидании жалких ста пятидесяти франков, которые школьный управляющий принесет только в конце месяца. Этой «затычки» едва хватало, чтобы заткнуть хоть одну дыру в бюджете, где уж тут думать о дальнейшей учебе!

Но все же мысль о высшем образовании, об успешной карьере с целью продвижения по общественной лестнице не давала ему покоя. Он повсюду изыскивал средства, составил список возможных благотворителей, написал даже Рокфеллеру. Но он мог хоть волчком вертеться: вечно не хватало какой-нибудь сотни целковых.

В конце концов он даже обратился к дядюшке Тобиасу, богатому холостяку, не соблаговолит ли тот обеспечить бедному племяннику годик-другой учебы в университете. Это был горький опыт. Все родственники знали этого Тобиаса как старого скрягу, который никогда никому не помог, ни гроша не дал. Если кто к нему приходил, он отворял только форточку или рычал сквозь закрытую дверь:

– Меня нету! Нету и все! Вы приходите только за наследством! Иди своей дорогой! Может, и есть, да не про вашу честь!

Ребман его почти не знал, видел лишь однажды, когда маленьким мальчиком с мамой приходил его проведать. «Ты должен быть милым с дядюшкой, – предупреждала мама, – песенку ему спеть, с выражением прочитать стишок. Он, бедный, не может как следует ходить и некому за ним присмотреть». Но малыш *Петерли* вовсе не был милым. Как только он увидел лысого старика, тощего, как скелет, с голым черепом и горящими колючими глазками, то сразу хотел убежать и закричал во весь голос: «Не буду я с тобой здороваться, не стану петь и читать стихов! Ты вовсе не наш дядюшка, а старый хромохрыч!»

Любопытно, помнит ли дядюшка об этом? Скорее всего, нет. Он достаточно любезен. Ставит на стол кофе и пирожные. Говорит, что он рад тому, что племянник – да, так и говорит, племянник – оказал ему честь и пришел к нему за советом. Другие, по его словам, приходили, только чтоб друг друга опорочить и оболгать. Он же всегда готов помочь:

– Ты мне всегда нравился, ты был таким шалунишкой!

⁵ Популярная немецкая детская песенка (прим. переводчика).

При этих словах племянничек залился краской, едва удержался, чтобы не кинуться на шею милому дядюшке. Тот тут же протянул вперед руку:

– Рад помочь, но не так, как ты думаешь! Не деньгами или поручительством. Деньги только портят молодых людей. А поручительство обязывает обе стороны. Именно так говорил мне твой дедушка, мой зять, когда я однажды обратился к нему за поручительством, чтоб начать свое дело. «Я бы сослужил тебе плохую службу, – сказал он в тот раз, – если бы за тебя поручился. Ты должен всего добиться своими силами, тогда будешь радоваться и делу, и жизни, а так – не будет тебе радости!» Я долго не мог ему этого забыть. До тех пор, пока сам не понял, насколько он был прав. Я бы никогда не стал тем, кто я есть, если бы не вынужден был добиваться всего в одиночку...

Он смотрит на племянника из-под своих кустистых бровей:

– На кого ты хочешь учиться? Ты ведь уже проучился больше моего, меня в свое время и до реальной школы не допустили. Готфрид Келлер тоже не имел диплома. И Эдисон, и Карнеги. И вообще, не кабинетные ученые двигают мир вперед, это делают другие. Скажи я тебе теперь: ступай, учись, дорогой племянник, где угодно и сколько угодно, я за все в ответе. Разве это любовь? Ведь студенческая жизнь портит молодых людей; они становятся легкомысленными и самонадеянными, забывают, что нужно потрудиться до пота, чтоб заработать себе на хлеб, и отучаются прилагать усилия. Пройди ту школу, которую прошел я, она лучше цюрихских университетов. Будешь меня потом благодарить, что помог тебе добрым советом, а не так, как хотел бы ты. Пусть пока ты и думаешь иначе. Но я лучше знаю жизнь и вижу дальше твоего.

Доктор Альфред Ной, директор учительской семинарии при Шафхаузенской гимназии, бывший преподаватель Петера Ребмана, сидит в своем ученом кабинете в директорском доме, что возвышается на горе и украшен надписью «На воздухе».

– Та-а-к, – говорит он, – вот и наша перелетная птица явилась. Получив мое письмо, вы, верно, подумали, что я только пытаюсь вас утешить? Но нет, это вполне серьезно. И это важный шаг, поэтому я сперва хотел с вами поговорить. Мы должны подумать и о более отдаленном будущем. Вы там пробудете, конечно, не более двух лет. Оставаться дольше нет смысла. И чтоб, вернувшись, вы не оказались у разбитого корыта, мы сделаем заявку в попечительский совет, чтобы вам дали отпуск на два года. С таким условием я вас рекомендовал.

– Почему именно меня?

– У вас нет семьи. Простите, что я так говорю, вы понимаете, что я имею в виду. Оба ваших товарища по классу, подходившие на эту роль, не свободны: один продолжает учебу, другой обручился, как я слышал. А для сего особого случая нужен тот, кто волен собой распорядиться. И необходим кураж: это дальнейшее путешествие, а не прогулка по окрестностям Цюриха. Я имею намерение в данном случае обратить внимание господ членов попечительского совета на то, как было бы полезно, если бы наши молодые учителя получили возможность годик-другой побыть за границей, чтобы расширить свои горизонты и поучиться хорошим манерам.

– Куда же, собственно, предстоит ехать?

– Об этом вам расскажет господин Мозер. Как раз собирался выписать для вас его адрес. Он вам знаком?

– Вы имеете в виду фабриканта? Да его же в Рейнгорде каждый ребенок знает!

– Ну так и ступайте прямо к нему! Дело не терпит отлагательств, вам следует не позднее чем через четырнадцать дней вступить в должность.

Молодой учитель качает головой:

– Я не совсем понимаю. Вы мне написали, что речь идет о месте воспитателя. Какое же отношение к этому имеет наш фабрикант?

– У него там имеются коммерческие интересы, к тому же он получил запрос от своих друзей. Господин Мозер сам там неоднократно бывал и знает положение.

– Но, надеюсь, речь не о... сводничестве?

– Боже упаси, я никогда не поддержал бы чего-либо нецеломудренного. Нет-нет, отправляйтесь к нему со спокойным сердцем. А потом приходите ко мне с докладом. Можете выпить у нас кофею, а затем мы составим письмо к совету.

Разговор с фабрикантом продлился дольше, чем предполагалось. Покофейничать у директора семинарии не пришлось. Беседа заняла более трех часов. И когда ошастливленный Петер Ребман шагнул обратно в Ранденталь, в небе уже висела полная луна.

Поначалу он был весьма озадачен, когда узнал, куда ему предстоит отправиться. Россия!!! Он был потрясен. Однако фабрикант растолковал ему, как хорошо быть домашним учителем в поместье русского дворянина: к нему отнесутся как к члену семейства, можно путешествовать с семьей на Кавказ, в Крым, даже за границу. Кроме того, во всем мире не увидишь таких красот, как в России. Он и сам хоть сейчас поехал бы туда снова, ведь все, что он там услышал и увидел...

И Ребман решил: да, Россия – именно то, чего он ждал всю жизнь, а Ранденталь, и Рейн-город, и даже Коллегиум, где он мечтал учиться, да и вся *Швейцарийка* ничего больше для него не значат.

Дома он первым делом достал атлас и нашел КИЕВ – ему туда. А потом еще несколько часов до имения.

Вот он, в излучине Днепра, изображен как крепость. А в книге по географии значится: «Киев, произносится: “гајew” – святой град, славянский Иерусалим, старейший город России и один из интереснейших городов мира»...

– У-у-ух ты!

Столица Украины. Знаменит своими церквями и монастырями, особенно Печерской Лаврой. Университет, основанный в 1833 году. Политехнический институт, военная академия и многие другие высшие школы и прочие образовательные учреждения. Духовный и научный центр Малороссии. Центральная и юго-западная железная дорога. Важный речной порт. Мощная промышленность. Крупнейший в России рынок древесины, продуктов животноводства и земледелия. Два прекрасных железных моста через Днепр, один из них – знаменитый подвесной, 1053 м длиной. Днепр во время весенних паводков достигает ширины 10–20 километров. 500 000 жителей. В настоящее время ежегодное число паломников составляет от 700 до 750 000 человек.

В понедельник утром, когда Ребман как раз собирался незамеченным войти в здание школы, к нему подошел сельский староста:

– Вот, получил письмо. Надеюсь, вы это не всерьез, так порядочные люди не поступают!

Ребман помедлил с ответом:

– Я уже ничего не могу изменить, так как дал согласие и должен с первого мая вступить в должность, то есть через десять дней. Одна дорога займет два дня. Следовательно, я могу оставаться здесь еще неделю. Я вам так все и написал. И буду очень признателен за предоставление открепительного документа.

Староста ничего не ответил, только, глядя прямо перед собой, вертел в руке письмо Ребмана, как будто размышляя, не съездить ли ему этим письмом прямо по физиономии!.. И только когда учитель дал понять, что вряд ли станет жалеть о потере места, произнес:

– Хорошо, я так и доложу. *Адье*, господин Ребман!

И эти несколько слов так действовали на молодого человека, что он был готов закричать вслед старосте: это была только шутка, я же никуда не уезжаю! Но он ничего не крикнул: пошел наверх и преподавал, как мог, до конца уроков.

Вечером, когда стемнело, к нему постучали. Перед дверью стоял тот самый старик, который два года назад приветствовал его у деревенской заставы. С тех пор они стали добрыми друзьями и частенько с удовольствием и веселостью вместе коротали время. Но теперь старику, пожалуй, не до шуток. Он говорит очень серьезно:

– Что это я слышу? Вы задумали бросить нас на произвол судьбы, господин учитель? Чем же мы вам не угодили?

– Вы мне? Да вовсе ничем, наоборот! Это я сам ухажу!..

– И из-за чего же... Я не могу поверить: вы же не из тех, кто после такого успеха на выборах ищет там и сям более теплого местечка! Нет, вы не из таких.

Он так и стоит, ведь Ребман не предложил ему даже стула, ждет и, когда ничего не слышит в ответ, говорит сам:

– Такое место, как у вас здесь, о Господи, Боже мой, я бы не променял ни на какое другое, даже в княжеском доме!

– Я тоже так думал, пока не имел никаких надежд его получить. Но когда место действительно предложили... Если перед тобой открывается дверь в большой мир – а скольким учителям выпадает такой шанс?! – нельзя этой дверью хлопнуть, нет, нужно поблагодарить и входить.

– Возможно. И куда же вы теперь путь держите?

Ребман говорит как есть.

Старик даже голоса лишился:

– Теперь я вас вовсе не пойму. Если бы вы сказали Франция или Англия, пусть даже Америка. Но... Боже правый! Спаси и сохрани! В этой жуткой стране нет ничего, кроме нигилистов да сифилитиков. Они отрезают уши и носы, и даже... Да-с, отрезают! Я знал одного такого, который бывал в России, так он рассказывал, что там на улице больше людей безносых, чем с носами.

Он указывает рукой куда-то вдаль:

– Там же три четверти года зима, а четверть – холод. И чему вы станете там учиться? Вы же по-русски аза в глаза не видали, в ихней азиатской культуре ни бельмеса не смыслите. О Боже мой! – когда тут все так славно складывается: место обеспечено, всего вдоволь, по жизни можно идти, словно по прямой дорожке. И вот на тебе... Подумайте об этом, господин учитель, хорошенько поразмыслите. Отказаться от такого места – значит променять коня на подкову, а подкову по морю пустить. Где родился, там и содился, учит пословица! – старик налегает на слово «сгодился». – И все, кто ей последовал, ни о чем не пожалели. А со временем мы, глядишь, для вас и более почетное место подыскали бы.

Он качает головой:

– Ехать в Россию, на край света, рискуя сгинуть на чужбине! Что ж, хочешь этого, так поезжай!

В том же духе говорили и остальные, те немногие, что вообще высказались по этому поводу, большинство же только качали головой.

Глава 2

Всю ночь и все утро льет как из ведра. Там, где Арлберг-экспресс подъезжает к Валлензее, туман повис над водой мокрыми полотенцами. Все, кто могли, набились в давно переполненное купе.

Только очень худой одинокий юноша стоит перед открытым окном в проходе и смотрит вдаль, где уже за пятьдесят метров ничего не видно. Кондуктор хотел было его пустить во второй класс, может ведь простудиться так, без пальто. Но молодой человек отрицательно покачал головой, да так и остался стоять. И вот стоит он возле своего ободранного парусинового чемоданчика, которым его на прощанье снабдил в дорогу дядюшка Тобиас. В этом чемоданчике поместилось все его имущество, которое и сторожить-то незачем, ведь никто на него не позарится. Пара сорочек, несколько носовых платков, еще мамой связанные носки – такое сокровище не соблазнит даже самого неприятельного вора. Однако в письме мадам Орловой, которое вместе с паспортом, билетом и деньгами на дорогу (несколько австрийских крон и русских рублей) аккуратно помещено в особый пакетик во внутреннем жилетном кармане, – так вот, в том письме черным по белому написано, да еще и жирно подчеркнуто указание, чтоб он во время путешествия был предельно осторожен и внимателен, ни на кого не оставлял свой багаж и не выпускал его из рук.

Он сел на чемодан, вынул паспорт из кармана. Целая книжка! *«Эта книга насчитывает 32 страницы»*, – важно сообщает надпись по-французски, а далее прилагается полный перечень всего того, что должно содержаться в столь важном документе. К внутренней стороне задней обложки прикреплена еще и красная бумажка: *«Все без исключения граждане Швейцарии, проживающие за границей, независимо от пола, возраста и гражданского состояния, подлежат обязательной регистрации. Регистрация является необходимым условием для предоставления им дипломатической защиты и консульских услуг»*.

– Это из-за военного налога и мобилизации. В случае начала войны вам предписано немедленно возвратиться, – говорил нарочный, который доставил Ребману паспорт. Но Ребман в ответ только посмеялся:

– Всем бы ваши заботы! Хотел бы я знать, с чего бы это вдруг разразилась война. Если до этого дойдет, нас всех и так выставят вон.

И когда он сдавал свою военную амуницию в цейхгауз на хранение, управляющий сказал, что он пока проштампует на два года, чтобы по возвращении можно было получить все обратно.

Господина учителя это только позабавило:

– Вы больше не увидите фузилера Петера Ребмана в строю, а тем более здесь, в вашем цейхгаузе!

Между тем поезд въехал в австрийские Альпы. Вокруг не видно ничего, кроме гор, покрытых густым туманом. И тут нашла на нашего молодца такая смертная тоска, такой мрак окутал вдруг его душу: «Как же хорошо и уютно было бы сейчас в нашей рандентальской деревеньке!» Он, конечно, давал себе слово никогда об этом не думать, что бы ни было, не оглядываться назад, смотреть только вперед, – твердо себе наказал. Теперь же он понял, что так не бывает: у прошлого тоже есть и билет, и паспорт, оно едет вместе с ним в далекую Россию. Разумеется, куда лучше было бы направляться во Францию или в Англию, где хотя бы понимаешь людскую речь и можешь с кем-нибудь словом перемолвиться. А тут – совершенно чужая страна на краю света!

Несмотря на все преимущества нового места, которые так умело расписал фабрикант, это все же дикая страна. В этом Ребмана убедила его попытка изучения русского языка. В

соответствии с разработанной программой, он собирался ежедневно заучивать по десять слов и по пять предложений. Но скоро запутался, растерялся и в итоге так и не сдвинулся с мертвой точки.

«Это же невозможно! Ни за что не поверю, что где-то существуют люди, которые так разговаривают. Если я приеду и заговорю так, как предписывает этот немец, издатель сего путеводителя, меня тут же выгонят в шею. Даже если это действительно русский язык, то пусть меня петух в темечко клюнет: разве в человеческой речи есть место словам из семи букв с одной единственной убогой гласной!

Взять хотя бы числа: что «айн» будет «один», «цвай» – «два», на «дрю» говорят «три», на «зэхс» – «шесть», «семь» – на «зибэ», еще можно как-то понять; но «четыре» вместо «фир» и «восемь» вместо «ахт» уже ни в какие ворота не лезет! Какое разумное существо, пускай это даже и русское, станет подобным образом называть числа?!

А потом еще десятки: «эльф», «цвельф», «дрице» – ведь ни один человек не в состоянии произнести «adinatzet», «dwjenatzet», «trinatzet», «natzet-natzet-natzet»! Вот и верь после этого фабриканту, утверждавшему, что русская речь – как меховая шапка, в ней красиво, удобно и мягко! Напротив, ощущение такое, будто тебя хлещут мокрой тряпкой по лицу!

И вот еще чего не достает в этом путеводителе, особенно важного для путешественников. Тут не найдешь ничего, что можно было бы заказать в ресторане, ничего из того, что едят обыкновенные люди, здесь нет и в помине, а только «Tschai», «Kwass», «Borschtsch», «Schtschi» и прочая, и прочая. Это все наверняка так же противно проглатывать, как и произносить, если не более омерзительно.

Со словосочетаниями дело обстояло еще хуже. Ребман хотел подойти к задаче систематически, сначала взять те из них, которые пригодятся в дороге: «твердый сыр» и «большое пиво». Жареная картошка и бычий глаз. Мучной суп и горячая колбаска с картофельным салатом. Кофе с булочкой или кусок пирога. Все, хватит, покойной ночи!

И еще этот крысиный хвост, который непременно нужно прицепить в начале: «*dajtje mnje paschaluista*» – от такого просто голова кругом идет!

«Лучше подожду, пока прибуду на место и сам услышу местный говор».

И еще одна мысль его гложет: попечительский совет отклонил прошение о сохранении за ним учительского места на время двухлетней отлучки. В ответе указывалось на то, что нынешнее положение дел складывается не в пользу того, чтоб учителя-новички вояжировали по границам. Что за нужда каждому везде побывать и все повидать!?

А он все-таки вляпался в это дело, его упрямство снова оказалось сильнее всех доводов разума.

Чем дальше поезд отъезжал от родины, тем сильнее сжималось сердце бедолаги.

Хотя, помнится, фабрикант при прощании снова впал в восторг, все никак не мог остановиться:

– О-о-о, если бы я мог поехать с вами, пусть даже на несколько дней!

И доктор Ной тоже был полон уверенности:

– Да будет воля Божья! И дайте мне слово, что вернетесь через два года, а я уж подыщу вам место к тому времени.

И он завернулся в свой двухъярусный хэвлок.

Когда доктор был уже на другой стороне тротуара, он оглянулся еще раз и, встретившись взглядом с Ребманом, поманил ученика к себе:

– Вот еще что, – сказал он совсем тихо. – Будьте осторожны с русскими женщинами, они имеют репутацию весьма опасных!

Вот вам и прощание! Без слез все же не обошлось, пусть их никто и не увидел. Когда Ребман вышел из домика и пошел к Ранденталю, он вдруг осознал, что никогда в жизни не

жил в столь надежном месте и в столь доброжелательном окружении. И что ему оказали такую честь на последних выборах, несмотря на все его выходки. И они тоже к нему успели привязаться, дети-то. И стали любознательными. Когда кто-то из коллег спрашивал, как там, в Богом забытой деревеньке, он всегда искренно отвечал, что не встречал еще общины, окружавшей свою школу такой заботой, и более светлых детей, чем те, что достались ему:

– У меня пятый класс, они вначале очень медленно считали в уме, мне приходилось долго ждать, пока все поднимут руки. Да я и сам не сразу бы ответил. Но уже вскоре они стали меня то и дело опережать! И какие же забавные сочинения писали мои третьеклассники, например, о школьной экскурсии: «Потом мы ели и пили. И играли, и пели, и танцевали под деревьями. Потом еще мы ждали колесного парохода. А дома мы обо всем об этом рассказывали».

А взрослые, как они умели высказаться! Театральную пьесу поставили, да еще какую! В субботу вечером ее давали в зале мужского хора, а в воскресенье – в правлении.

Он успел полюбить этих достойных людей, которым всю жизнь приходилось возделывать каменистую почву Ранденталля и которые отличались таким добрым чувством юмора. С ними он ездил на праздник песни или на праздник стрелков в район. Участвовал в театральных постановках. Помогал косить, собирать урожай. И бывал на всех свадьбах, которые в Рандентале до сих пор всегда открыты для холостых и незамужних и вообще для каждого. И напивался с ними до посинения, с хористами-мужиками пивал весь праздничный день напролет, по старосветскому обычаю: чем хмельнее в воскресенье, тем привольней в понедельник.

А что же это был за миг, когда экзаменатор из школьного совета подошел к нему, протянул руку и при всех сказал (родители тоже при этом присутствовали): «Господин Ребман, ваши ученики знают больше восьмиклассников!»

У него даже сердце заныло при этом воспоминании.

И вот он в последний раз пришел в школу. На столе стоит букет. На стенах – картины, которые он рисовал: музицирующие кузнечики со скрипкой и кларнетом и толпа девчонок в капорах, и собачка Мюсли, что всегда его сопровождала. «Его дети», те, что знают больше восьмиклассников! Он попрощался со всеми, и в ответ услышал: «До свидания, господин Ребман!» Для них он уже не господин учитель. И дружеские улыбки со всех сторон...

Ребман много раз пытался восстановить в памяти свое долгое путешествие до русской границы, но вспоминались только слякоть за окном, дурно пахнущие пролеты железнодорожных вагонов и военные поезда, которых было с десятков, с дверями с обеих сторон. Как за окнами мелькали телеграфные столбы, убегая в направлении дома. И еще то, как его зверски искушали блохи. Он все надеялся, что вот-вот, за ближайшим поворотом, наконец откроются картины, что восторженно рисовал перед ним фабрикант! Вместо этого впереди простиралось все более унылое и чужое пространство.

Так было до тех пор, пока не доехали до Львова. Там в купе вошла девушка – губы накрашены, ногти отполированы, подведенные брови, мушка *grain de beauté*, огненнорыжие волосы – и с порога начала тараторить. Она студентка у Кохера в Берне, едет на каникулы домой в Одессу. Ей очень нравится в Швейцарии.

– Мне бы хотелось, чтоб я мог впоследствии сказать то же о России.

– Еще сможете. Мне не приходилось ни от кого слышать обратного. Когда привыкнете к местным правилам и выучите язык, вам нигде не будет лучше, чем у нас, особенно если вы иностранец. Вы куда едете?

– До Киева. В поместье поблизости. Там я получил место домашнего учителя.

Он сказал это исполненным гордости тоном.

– Вы не боитесь русских?

– Ну, – снова самоуверенно начинает Ребман, – если бы я взял с собой всю наличность, которую мне давали дома в дорогу...

Студентка смеется так, что видны все ее зубы, а у нее прекрасные белые зубы – один в один:

– Ох уж эти швейцарцы! Они всегда найдут, как выкрутиться! Та еще порода!

С чего это она решила, что он швейцарец?

– Так это же сразу видно! Я могла бы похлопотать за вас на границе. Начальник таможни в Волочиске мне дядя, и это обстоятельство может быть нам очень полезным. Или вы уже хорошо говорите по-русски?

Пока она это произносит, поезд начинает двигаться. Кондуктор кричит на весь вагон:

– Подволочиск! Пожалуйте на выход!

Ребман вынимает часы: восемь.

Перед выходом его новая знакомая бросает:

– Теперь вы в одночасье станете миллионером.

Молодой человек смотрит на нее расширенными от удивления глазами:

– Миллионером? Я?

– Да. Вы же знаете, что русский календарь на тринадцать дней отстает от григорианского; в Берне или в Рейнгороде, и там, где мы сейчас стоим, сегодня третье мая, а по ту сторону границы только двадцатое апреля.

– Это мне известно. Но какое отношение это имеет к миллионам?

– Нашлось бы множество миллионеров, готовых отдать все свои миллионы, чтобы продлить свою жизнь хоть на день. Ваша же жизнь в момент пересечения русской границы станет длиннее на целых тринадцать дней!

И она добавляет:

– В России все молодеет, все!

Это было сказано весьма игривым тоном.

Глава 3

Первым, кого увидел Ребман, выйдя из вагона, был великан Голиаф собственной персоной. Там, посреди перрона, возвышался он над толпой, словно сошедший с библейских страниц, одетый в мундир царского полицейского: фуражка набекрень, придающая ему весьма устрашающий вид, длинная черная шинель поверх сапог гармошкой, под мышкой – сабля на ремне клинком вверх, с другой стороны, на толстом красном шнуре – револьвер.

Он что-то говорит, но Ребман под таким впечатлением, что и с места сдвинуться не может. Башка у этого парня величиной с медный таз, ручки – что кузнечные молоты, ножищи – как корабли. Силач Готфрид из родного Вильхингена, который запросто может поднять нагруженную телегу, отнести мусорный бак на другую улицу или установить в одиночку фонарь, – Готфрид, который как с церковной колокольни сверху вниз взирает на клеттгауэрский народец, по сравнению с этим верзилой – просто малыш, которого ничего не стоит посадить на руки.

– Вот видите, – замечает ему студентка, – тут следует быть осторожным!

– О да, просто дух захватывает! Если в России все такое же, как этот!..

Вот Голиаф дал отмашку, и они со всеми остальными проходят в зал пограничного контроля. Как только все зашли, дверь тут же закрыли изнутри на замок и поставили стражу.

«Замуровали! Возвели за нами стену!» – даже дрожь пробежала по всему телу Ребмана.

Тут подходит офицер в элегантной серо-голубой шинели:

– Ваш паспорт, пожалуйста!

Ребман подает свой паспорт. Потом он стоит и слушает.

Но он может слушать сколько угодно: не уловить ни звука из фабрикантской книжки, ничего похожего на «...*надцать*», «*восемь*» или «*дайте мне, пожалуйста*»: речь мягко звучит, словно падают снежные хлопья.

Из-за деревянной загородки время от времени раздается стук, как будто учитель с первоклассниками упражняется на счетах.

Вдруг Ребман обнаружил, что его чемоданчик пропал. Он ведь оставил его здесь, на этом самом месте, и вот багаж исчез. Все остальные пассажиры при вещах. И студентка, ее тоже как ветром сдуло!

Ребман направился с жалобой к Голиафу, но тот только пожимает своими широченными плечами, что-то говорит о каком-то «*Метеком*», о котором Ребман не имеет ни малейшего понятия. Обеспокоенный иностранец может сколько угодно указывать на скамейку и твердить «*Кофэр! Кофэр! Ба-гаж!*», но в ответ – тишина, хоть головой об стенку бейся.

– О-о-о, нечего было к этому проклятому русскому прислушиваться, за вещами бы лучше следил, вот мне теперь и наука!

Пока он так стоял в полной растерянности, в зал вошла пропавшая студентка. А за ней – носильщик с чемоданчиком в руке – его, Ребмана, чемоданчиком. А рядом со студенткой – офицер. Он обратился к Ребману по-французски: *ah, le nouveau millionnaire!* Потом он устроил быстрый досмотр багажа.

– Это мой дядя, начальник таможни, – пояснила студентка. – Подождите меня здесь, я пойду поменяю вам деньги и возьму плацкарту.

Уже через несколько минут все улажено. Ребману вернули паспорт. И только теперь он вздохнул спокойно.

Однако свое прибытие и встречу на границе он представлял себе по-другому: он вышел бы из поезда, объявил куда направляется и все бы забегали вокруг, как если бы им пинков под зад надавали, и стали бы ему до земли кланяться.

А эти даже не спросили, куда он следует: ни слова не говоря, отдали ему паспорт, как прочитанную газету, – и готово, аминь.

Но важно то, что он сумел беспрепятственно перейти границу, а это уже кое-что, особенно теперь, когда по обе стороны этой самой границы даже в глазах рябит от военных.

Не разыгрался ли еще у него аппетит, поинтересовалась студентка.

Аппетит? Да он с голоду помирает, сейчас в обморок упадет!

– Так пойдемте же поедем! Я переночую в Волочискe, но хочу проследить, чтобы вы сели в нужный поезд. Вот ваша плацкарта.

– Плацкарта? У меня же есть билет до Киева!

– Именно поэтому вам и нужна плацкарта, не то рискуете всю ночь простоять в проходе. Ваш билет действителен только для посадки в поезд, а чтобы занять место, сидячее или лежащее, нужен еще один билет, и он называется плацкартой. Ну идemте же!

Они проходят через буфет, помещение, полное дыма и смрада. Солдат у дверей встал навтыжку, пропуская их: они ведь идут по протекции.

– Это был казак, – говорит его сопровождающая, – узнается по тому, что у него на фуражке нет козырька.

Они усаживаются за длинный стол. На стене напротив – портрет царя, а у буфета, позади – святая икона с горящей перед нею лампадкой.

– Ну, чего бы вам хотелось?

У Ребмана лицо – как у голодного волка: чего-нибудь получше и побольше!

Студентка подзывает человека в белом колпаке, тот подходит, скользя по полу, словно бы на коньках. Кланяется, потом стоит в струнку, как солдат перед генералом.

Студентка ему что-то говорит по-русски. А Ребману поясняет:

– Я лучше закажу сама, у вас не так много времени, и к тому же вы не разбираетесь в русских блюдах.

Кельнер все записывает. Потом ускользает в сторону буфета. И сразу же возвращается с двумя полными тарелками в руках и приборами под мышкой.

– Ну, кушайте на здоровье, – говорит Ребману студентка по-русски и по-швейцарски.

Но Ребман не ест. Он смотрит на то, что там плавает в его тарелке, так, точно перед ним поставили отраву: красный соус, в нем куча кусков чего-то, а сверху белая клякса.

– Почему же вы не едите? Это борщ. Я его не ела с прошлых каникул.

Она пробует:

– Ах, как же он хорош!

Но Ребман все равно не ест.

– А вот это, белое – что это? – вопрошает он.

– Это сметана – кислые сливки, без нее борщ и не борщ вовсе.

– Кислые?.. Я не могу есть кислых сливок, мой желудок этого не перенесет.

– Тогда отдайте их мне, – смеется студентка.

Она берет у Ребмана ложку, загребаем ею всю белую кляксу в тарелке – и съедает! За этим следует долгое сладостное «м-м-м!».

– Пустяки, еще научитесь есть борщ со сметаной. Это же просто наслаждение!

Однако Ребман не ест и теперь. Он совсем не голоден: честно говоря, он вообще не силен по части еды. Это у него еще со времен учебы, когда он целый день не вкушал ничего, кроме кофey с размоченным в нем хлебом.

– Вы и этого не хотите? – она указывает на нечто вроде пирога, который кельнер тем временем перед ними поставил. Пирог с начинкой из нарезанной капусты и еще чего-то желтого. Это кулебяка, тоже дежурное русское блюдо с нашинкованными яйцами внутри.

– Я бы охотнее выпил кофey с молоком! – Ребман уже в полном отчаянии, он устал от долгой дороги и полностью разочарован, потому что все совсем не так, как он себе представлял.

Студентка снова смеется. А кельнеру, который еще что-то принес, говорит:

– *Ani nje galodnje*.

Тот убирает тарелку и уносит все. Что это она ему сказала?

– Я сказала, что вы не голодны, хотя этому совсем не верю.

– И как же вы к нему обратились?

– *Tschelawjek*. Дословно это значит «человек». Но у нас так обращаются и к официанту.

Тут с улицы слышится звон, громкий и продолжительный, а потом еще удар в колокол. После этого в зал заходит служащий железной дороги. Фуражка с козырьком, кафтан до колен, кожаный ремень вокруг живота, широкие черные шаровары и сапоги, такие же, как и у полицейского. Он что-то кричит, последнее слово явно «Киев».

– Это знак к отправлению, – говорит студентка, – на него всегда следует обращать внимание, когда путешествуешь. Вы заметили, что после трезвона был один удар?

– Да, я его слышал.

– Это называется «первый звонок», первый сигнал колокола, затем приходит служащий и кричит, что сейчас был первый звонок на поезд туда-то... Тогда уже ясно, что надо делать. Через пять минут будут снова звонить с двумя ударами в конце. Это второй звонок. Вот он как раз прозвонил! Теперь нам нужно заплатить и идти, так как после него прозвонит третий звонок и поезд отправится. Вы уяснили?

Ребман улыбается:

– Это вроде как дома, в воскресенье: церковный звон, сначала один раз, потом второй, и когда начинают вместе звонить, время все бросить и бежать. У нас церковь стоит на горе, и жителям нижней деревни приходится нестись сломя голову, чтоб успеть к началу службы.

– И еще кое-что важное должна вам сказать: смотрите, чтоб у вас в дороге всегда была мелочь. Никогда не давайте официанту пяти- или десятирублевой купюры, если уже прозвонили: долго будете сдачи ждать!

– А что в России есть шельмы? Я думал, тут все как братья!

– Шельмы есть по всему свету, даже среди законопослушных швейцарцев; у нас их, может, чуть побольше, потому как и Россия больше. Но теперь нам нужно поторопиться. Ну же, агнец вы мой!

Ребман берет чемодан, который до сих пор держал зажатым между ног, и они выходят на перрон. Поезд уже стоит, вагоны огромные, одни красные, другие синие с русскими словами и числами.

– Однако, вагоны хороши, – замечает господин гувернер, – у нас таких нету. Что на них написано?

– Маршрут вашей поездки: «Волочиск-Киев». А цвет обозначает класс вагона: красный – второй, синий – первый. Вот наш вагон, на плакате указан номер, обратите на это внимание.

Она загружает своего подопечного швейцарца в вагон, в чистое купе с двумя складными полками с каждой стороны. На нижних полках уже сидят двое господ.

– Ваше место сверху, – говорит студентка. Затем она выходит в проход и подает ему руку:

– Ну, с Богом! Быть может, еще свидимся, мир ведь тесен. И еще вам придется переставить часы на два часа вперед. А сердце и душу – распахнуть пошире!

Ребман вежливо благодарит. В свою очередь желает новой знакомой всего хорошего. И вот уже третий звонок, двери захлопываются. Через миг поезд уже тронулся.

Двое господ на нижних полках не обратили на своего спутника никакого внимания. Только когда он снова вошел, один спросил на хорошем немецком, куда он едет.

– До Киева.

– Вы хотите в Киев? Ну тогда полезайте наверх! – и он указал ему на лестницу, которая вела на верхнее место.

И сразу поинтересовался:

– Вы откуда?

– Из Шафхаузена.

– Знаю-знаю, – говорит спутник таким тоном, что слышится: сразу видно, что человек только что вылез из доисторической пещеры (есть такая под названием «Тайенген» в кантоне Шафхаузен).

Ребман влезает навверх. Сидит рядом со своим чемоданчиком. Свесил вниз ноги. И думает про себя: «Как-то оно все сложится через годик-другой, будем ли мы все еще живы?».

Входит кондуктор, одетый так же, как полицейский и как глашатай на вокзале в Волочiske, собирает билеты, и идет себе мимо, словно они не живые люди, а багаж какой-то.

Ребман еще никогда не ездил в спальном вагоне, даже не знал, что такие бывают. Он носит со своим чемоданчиком, прямо как ребенок. Хоть бы пуговицу расстегнул, а то все время пути застегнут до подбородка. Несмотря на все предосторожности, он то и дело ощупывает карман жилета, проверяя, все ли на месте, а прежде всего – паспорт, эта отмычка современного искателя чужих национальных сокровищ.

Ребман смотрит на часы. И пусть они стоят всего двадцать франков, двойные, с позолоченными розочками на крышке, они ему особенно дороги как подарок бабушки – светлая ему память! – сделанный внуку незадолго до своей смерти.

А поезд тем временем едет сквозь темную ночь.

В окно не посмотреть, те, «нижние», опустили шторы. Но даже если бы и не опустили, все равно там ничего не видно; русские деревни совсем не освещаются, даже газовыми фонарями. К тому же, дома, если бы и были освещены, все равно повернуты к железнодорожному полотну тыльной стороной.

Чем заняться в таком положении? Он прислушивается к разговору внизу. Ребман уже решил, что его соседи – венцы, то есть не такие чужаки, как русские. Он даже очень рад такому соседству. Напрягает слух. Слушает. Штука в том, что он понимает лишь половину того, что говорится. Или это все же русский язык? Нет, не может быть, он же ясно различает немецкие слова.

Вот один говорит:

– *I dragaschisn kakaja!*

«Это точно по-русски», – думает Ребман.

А беседующий продолжает, вытянув вперед руку и покачивая головой:

– Вчера зашел в лавку, купил там парочку селедок, ну и жизнь, ой-вей, как дорого, аж страх берет!

«Э, да это снова по-русски!» – догадался Ребман. Достает карандаш, записную книжку и записывает, насколько удастся поспевать за разговором. Так все же скорее чему-нибудь выучишься, чем по книжке.

В конце концов те двое начинают зевать, а тут и полночь пробило. Один идет к своему месту: сначала потягивается несколько раз, потом раскладывает полку, потом развязывает толстый мешок. И что же в нем? Одна, две, три подушки, пара простыней, ночная рубаша, чайная посуда, ложка, стакан и, наконец, еще и скрученное стеганое одеяло. Когда этот чудак вынул все и забросил пустой мешок на свободную верхнюю полку, он начал еще и молиться: полное правило на сон грядущим отчитал, как будто был у себя дома перед божницей.

И другой тоже поднялся и расшнуровал точно такой же мешок.

Тут он поднял голову и прокричал Ребману, будто отгоняя бродячую собаку:

– Не желает ли господин наконец укладываться? Или на худой конец хотя бы ноги убрать и у себя протянуть, ведь есть же для этого место.

У него что, нет с собой постели? В России, когда путешествуют, берут в дорогу весь домашний скарб!

Ребман извиняется, поскорее поджимает ноги и сидит, как портняжка, у которого закончились нитки.

Тем временем его попутчики уже разделись, облачились в ночные рубахи и заснули крепким сном.

Один еще встал, дотянулся до лампы и завесил ее двумя синими занавесками.

Уже через несколько минут ничего не было слышно, кроме стука колес и храпа двух мнимых венцев.

Тут и господин учитель положил под голову свой верный чемоданчик и растянулся на полке.

Глава 4

Когда он проснулся, за окном был ясный светлый день. В купе – никого, только оба здоровенных мешка со всем богатым содержимым лежат на полках. Штора на окне поднята, и в лучах утреннего солнца виден зимний пейзаж дивной красоты.

«Но как это возможно, снег в мае?», – подумал Ребман.

Присмотревшись как следует и протерев глаза, он все же понял, что это не снег, а только иней.

Ребман сполз вниз: лесенка приставлена к стене, он погладил ее пальцем. Проверив карманы, тщательно застегнулся и вышел в коридор. О том, что в спальном вагоне можно умыться и в вагоне-ресторане даже позавтракать, рандентальский учитель, конечно, не догадывался.

В коридоре ни души. Он смотрит на часы, они и на сей раз показывают восемь.

– Неужели я единственный пассажир в этом поезде? Или мне снится, что я снова дома? Это так похоже на подъезд к Цюриху!

Последнее предложение он произнес уже громко, во весь голос.

– Да, – отозвался один из «венцев», появившийся в проходе с полотенцем под мышкой, – только остановки на станциях вместо каждых пяти минут – раз в пять часов!

Поезд идет через лес, но это совсем не такой лес, как дома: почти одни березы, на большом расстоянии друг от друга, словно в парке. И все в воде, будто в озере.

– Это наводнение от ледохода, – говорит Ребману «венец».

– Наводнение? Но вы же только что сказали, что до Киева еще ехать два часа, Днепр ведь течет через город.

– Пустое, Днепр заливает пол-России, – говорит тот будничным тоном, как будто это фонтан разлился.

– Вы останетесь в Киеве?

Нет, он отправится в поместье, получил место воспитателя в дворянской семье.

Вдоль железнодорожной насыпи теперь видны толпы нищенски одетых существ. В шапках из овчины, в лаптях, с котомками через плечо, стоят они и смотрят на проходящий поезд. Некоторые даже и вовсе босиком, сапоги или ботинки свисают на тесемке через плечо.

– Железнодорожная насыпь в России – это магистраль, – снова отозвался «венский обыватель», – но приличные люди пешком не ходят, пешком ходит только простой люд. И паломники. Их теперь полно, нынче время большого паломничества.

Лес постепенно остается позади. Они выезжают на холмистую равнину. На холмах все сверкает и блестит чудным светом, как в восточной сказке: золотые купола – просто не описать, так и рябит в глазах от сияния.

– Поражены, не так ли? Знать, не зря этот город зовут «святым градом Киевом».

Но что Ребмана еще больше удивляет, так это цвет крыш: не серые или черные, как дома, здесь они зеленые, и уже одно это придает городу особый веселый вид, даже если бы не было золотых куполов. Впрочем, не все купола позолоченные, некоторые небесно-голубые, и эта голубизна над белоснежными башнями делает чудо еще чудесней.

И тут вдруг объявляют прибытие: Киев!

«Вот теперь я уже точно в России. Не где-нибудь там, в Базеле или Берне. Нет, и вправду в самой России», – думает Ребман и собирается на выход.

В вагонном коридоре распахнуты окна, туда выбрасывают мешки и чемоданы, целое море чемоданов и мешков. Как только поезд остановился, из всех щелей повывлезли люди.

– Носильщик! – раздается со всех сторон по всей длине поезда.

Ребман берет свой чемоданчик. Выходит вслед за остальными. Смотрит, не видно ли где мадам Проскуриной, начальницы «Swiss Home», которая обещала его встретить. Но он не видит никого хоть сколько-нибудь подходящего на ее роль. И идет дальше к выходу.

Когда он уже вышел, сзади послышалось:

– *Грюёци*⁶, *Herr Rebmann!*

Обернувшись, он чуть было не выпустил из рук чемоданчик: да это же его мама! От головы до пят – вылитая мама! Только с седыми волосами.

Она подходит к нему и протягивает руку:

– Так, ну вот и вы. Да поставьте же чемодан! В России господа если и носят, то только трость и перчатки. – Она делает знак носильщику.

– Ну, хорошо ли доехали? Господин Мозер разве не собирался с вами?

– Собирался. Он передает всем дружеский привет. Но как же вы похожи на мою мать! Я даже сначала подумал, что это она... Но, позвольте, что же я хотел сказать?... Ах да! Чем это здесь пахнет?

– И в самом деле, чем?! Россией, чем же еще? Разве вы не знали, что каждая страна имеет свой особый запах: Италия – фруктов, горгонцолы, кофею и политой уличной пыли, Америка – бензина, Германия – пива и лимбургеров, Швейцария – свежевystиранного белья и маленьких детей, а Россия пахнет... вот этим... тем, что вы сейчас вдыхаете. Я-то уже давно не слышу этого запаха: мокрые сапоги, овчина, махорка, народ, что моется раз в году.

Потом Ребман узнал, что все это неправда и самый простой люд, даже на селе, моется перед каждым великим церковным праздником, а в России этих праздников больше, чем будней.

– Это Россия. Но к запаху привыкаешь. Когда вы пробудете здесь так же долго, как и я, тоже перестанете его замечать или даже будете скучать по нему.

– Вы думаете, я здесь надолго?

Она улыбается:

– Вы не первый, кто меня об этом спрашивает – здесь, на вокзале. Но были бы первым, кто, уехав отсюда по своей воле, не тосковал бы потом по «зловонной России»...

Перед вокзалом стоит целый ряд саней, запряженных маленькими, косматыми лошадками, а на санях – мужички, словно их достали из музея и привезли сюда на выставку.

Сразу же подходят двое с приветствием:

– Куда, сударыня?

Мадам Проскурина что-то говорит. И тут начинается торг, да такой, что, кажется, сейчас один проглотит другого:

– Да ну-у-у! Да чт-о-о вы!

Наконец, один соглашается:

– Ну ладно.

Они садятся и едут по наезженному снегу, его еще довольно, хотя уже и ноздреватого.

Никогда прежде не бывало такой поздней весны, это в первый раз за все сорок лет, что она в Киеве, обычно в это время уже все в цвету, сообщает мадам Проскурина.

– Что там у вас с ним был за разговор?

– С кем? Ах, с тем мужичком! Заметьте себе хорошенько правило номер один: никогда не давать столько, сколько запрашивают. Вон тот извозчик просит рубль, а повезет вас за двадцать копеек. Это все плуты, обманывают, где только можно.

– Но он же так ничего не заработает!

⁶ Самая распространенная форма вежливого приветствия в разговорной речи в немецкоязычных регионах Швейцарии (прим. переводчика).

– Еще как заработает, для него рубль – целое состояние. Если вы пойдете в лавку, никогда не платите названную цену, даже в самом шикарном магазине всегда торгуйтесь.

– И что, все люди здесь таковы? То есть я имел в виду...

– Даже те, что княжеского рода, они даже пуше других. А простой народ так и по давню – с ними держи ухо востро! В России надобно быть дерзким: станете скромничать, примут за простофилю. А если вы когда-нибудь пригласите даму в театр или еще куда-нибудь, берите извозчика, никакого трамвая – трамваями в России пользуется только плебс.

Они едут вверх по длинной прямой улице. Сани скользят и скрипят, словно по заледенелому полю, извозчик все стегает свою тощую клячу коротким кнутом, который он достал из-за пазухи, а мадам все равно торопит.

Город теперь совсем не так хорош, как казалось издалека. Хотя и звонят со всех сторон по случаю воскресенья, и солнце все еще сияет, но слишком грязно и смрадно вокруг. Словно зловонное облако висит в воздухе, даже дыхание спирает. «Удивляюсь, как тут можно жить! Кажется, теперь я охотно пожертвовал бы своим миллионом еще на таможне».

Только кончился лед, как они поехали по брусчатке. Но кучер, смешной малый в своем длинном, засаленном кафтане и в подстреленных бидермайеровских штанах-дудочках, принялся нахлестывать бедное животное, да так, что пар идет. Весьма курьезная фигура этот паяц: стрижка у него, словно ему миску на голову надели, а потом по кругу обстригли конский волос, а борода – как у старого великана. В книгах доводилось встречать нечто подобное, но что такие типы и вправду попадают, Ребман никогда не подумал бы.

А между тем дорога снова пошла вниз.

– Киев, – говорит мадам Проскурина, – стоит на семи холмах, как Рим. Видите вон то здание, там ниже, красное? Это университет. Когда его строили, то отцы города отправили депутацию к царю Николаю, чтобы спросить, чем покрасить новое здание? А царь им на это: по мне, так хоть бычьей кровью! Так они в точности и исполнили... А вот мы и приехали: это Крещатик, наш *Broadway*. Красиво, правда? А как раз в том доме, что напротив, обосновался «Swiss Home».

Она указала на большое здание со множеством окон.

– Там ваш дом?

– Там «Swiss Home». Мы должны обитать в подобающем месте. Если бы мы расположились на Подоле у Днепра, ни один из моих питомцев не получил бы приличного назначения.

Сани останавливаются. Ребман берет свой чемоданчик, что стоял впереди у кучера. Мадам расплывается. И снова торг, извозчик орет во все горло:

– Как можно, барыня, право слово!

Но мадам ощерилась на него, как дикая кошка, даже вся покраснела лицом: иди прочь, разбойник. А Ребману, стоящему с такой кислой миной, словно он вот-вот заплачет, бросает уже на ходу:

– Пойдемте скорее, а то если он заметит, что вам его жаль, то уж не отделаетесь.

– А мне его, и правда, жаль. Разве вы не могли ему дать, сколько просил, нельзя же так обходиться с людьми!

Но мадам Проскурина только отмахнулась:

– Так говорят все, когда впервые едут со мной по городу, а через год уж и сами учителей научат.

Здание и вправду представительное. Ребман никогда бы не подумал, что «Швейцарский Дом» стоит в таком шикарном месте, в самом центре города, в лучшей части главной улицы.

Но в России все кажется возможным.

Во время поездки по городу Ребман был очень внимателен, смотрел во все глаза и вертел головой по сторонам, примечая все вокруг. Во-первых, здесь никто не носит шляп. Все ходят

в фуражках: либо на военный манер, с кожаным лакированным козырьком, либо в черных или серых меховых, из каракуля. А шляп не видно ни на ком, ни на одном человеке. И все ходят в шинелях и мундирах, даже такие малыши, какие дома в деревне еще в платицах бегают.

– Это что, юнкера? – спросил он.

– Нет, просто школьники. В России все обязаны носить мундир, даже самые младшие классы.

– Это еще зачем?

– Чтобы всякого можно было узнать в случае беспорядков. Поэтому каждый чиновник любого ранга, каждая школа, каждый институт, даже заведения для девочек имеют особую форму, чтобы сразу было видно, кто ты и откуда.

«Это еще ничего, – думает Ребман, – они, по крайней мере, ходят на двух ногах, а не на четвереньках, и вообще выглядят как обычные люди».

Уже в доме, поднявшись наверх, он прежде всего помылся и побрился.

Затем мадам Проскурина представила Ребмана его соотечественникам. Земляки приняли новоприбывшего как брата, приехавшего издалека, спрашивали, хорошо ли доехал и привез ли чего-нибудь вкусненького. Все, однако, говорят по-французски, и никто – на бернском или каком другом швейцарском диалекте.

Вдруг открывается дверь и – у Ребмана в зобу дыхание сперло – в залу входит не кто иной, как сестра-близнец Голиафа из Волочиска, во всяком случае, судя по виду вошедшей девицы. Ребман тут же окрестил ее «Титанией».

– Ах, – воскликнула она по-немецки, – вот он, мой спаситель! Вы *пыивезли пайяшочек*? Именно так и сказала: «*пыивезли*» и «*пайяшочек*».

– Да-да, разумеется, привез. Вы, наверное, немка из Берлина? – спросил Ребман.

– Я предупреждаю, что я из балтийских! – гордо отрезала дева Титания.

После того, как она приняла порошок, ее лицо ожило, до этого оно было трупного цвета. Она села за фортепьяно и принялась барабанить по клавишам. Некоторые из дам состроили насмешливые гримаски. А некто Штеттлер, юноша из Берна, вскочил на стул и возопил над обезумевшей толпой, носящейся по зале:

– Йихайд Вагней! Гибель Богов!

К обеду явилась еще целая компания: итальянцы, французы, бельгийцы и даже один англичанин. Большой стол был полностью занят гостями, до последнего местечка. Беседа шла все же по-французски. Даже англичанин старательно отчеканивал «*а-фран-сэ*».

Ребман был счастлив уже потому, что наконец-то может по-человечески поесть, он давно был близок к голодному обмороку. Мадам Проскурина разливает суп. Она говорит, что ради новоприбывшего решила отказаться от русского обеда. Все ведь знают, как себя ведут в России новички: им все мерещится, что здесь во всякое яство подмешан яд. Теперь и она говорит по-французски, да и вовсе ничего другого не слышно, кроме доносящегося отовсюду «*Mais non, mais non, mais non! Eh bien tut alors! Mademoiselle Geissberguere, si j'peu vous demander le pain?*» Звучит в точности так, как им твердил учитель французского в семинарии: «Во французском языке нужно удерживать голос в высокой позиции на последнем слоге предложения, чтоб интонация не падала как в немецком: *мэтр корбо – эйн-свэй-дрэй! Сюр ан арбр першэ – эйн-свэй-дрэй-фшир!*» Так точь-в-точь и звучит.

Ребман сидит с таким чувством, словно у него дыры в носках. Он, письменно заверивший работодателя, что «свободно владеет немецким, французским, английским как в устной, так и в письменной форме», теперь, когда дошло до дела, со стыдом убедился, что ни на одном из названных языков не может выразить даже самых элементарных вещей. Они семь лет учили французский, басни Лафонтена, «*Avare*», «*Petite Chose*» и многие другие книги изучили от

доски до доски. Но как ответить, когда тебя спрашивают, хорошо ли ты доехал и как тебе нравится на чужбине, он понятия не имеет. И вот сидит он дубина дубиной, чувствует себя двоичником среди толпы отличников. Не проще ли без лишних хлопот объясниться по-немецки? Но, похоже, вся Россия под каблучком этой *Францмамзель*.

Между тем он заметил, что одна из француженок, та, которую зовут мадемуазель Аннабель, хотя следовало бы назвать ее потасканной драной кошкой, все время картинно закатывает глаза. Томный взгляд этих карамельных глазок с тоскливой надеждой ищет жертву.

Испытывая Ребмана, она как бы невзначай восклицает:

– А он и вправду милый!

Но тут Штеттлер возвышает голос: «И даже коль соловушка – старушка, то все равно поет, когда весна придет!»

Он говорит как будто бы в сторону, но обращается явно к Ребману:

– Так-так, значит, вы и есть последняя добыча семейства Потиферов! Простите, мадам Проскурина, это я просто вслух подумал.

Маленькая дама смотрит на Штеттлера гневно:

– Не слушайте его, он все время безумствует!

Но бернский парень не обращает внимания на этот окрик, он продолжает:

– Гувернер здесь в России считается профессией, а по швейцарским меркам это просто гувернантка мужеского полу. Как сопливый младенец, едва слышав шум воды, воет от ужаса перед купанием, так и наша мадам *бишон фризе*⁷, случайно соскользнув в пустую ванну, в панике скулит и отчаянно скребет коготками, пытаясь выкарабкаться наружу.

⁷ Бишон фризе (*франц.* Bichon à poil frisé) – декоративная порода собак семейства болонок (*прим. переводчика*).

Глава 5

На обед – бульон с вермишелью, говяжье жаркое с картофельным пюре, горошком и морковью. Ребман так налегал, что даже вспотел, три раза наполнял тарелку с горкой, пока фройляйн Гайсберьер не сказала:

– Что ж, самое время испытать молодого человека на крепость. Как у вас обстоят дела с русским, ваш словарный запас в порядке?

Ребман не пытается отвертеться: говорит, что старался, но не нашел никакого подхода к этому мудреному языку.

Девушка Титания не отстает, она кажется весьма энергичной:

– Идите же сюда, садитесь рядом со мной, мы сейчас посмотрим. Итак, что же вы знаете: можете сосчитать до двадцати, сказать «здравствуйте» и «до свидания»?

Ребман может сосчитать до десяти, но вслух не решается произнести ни единого слова:

– Вы же сами меня засмеете. Если я, к примеру... ах, нет, лучше не буду.

– Ну же, вперед, смелее! Хорошее начало полдела откачало.

– Нет, сначала вы мне скажите, как по-русски «*acht*»?

– Вы имеете в виду число? Восемь.

– Правда? А я думал, это шутка.

– Ничего подобного. Итак, еще одна попытка.

Господин учитель считает до десяти, дальше он не знает и начинает юлить.

– Я внимаю и стараюсь, как первоклассник, но, думаете, я понял хоть одно словечко? Все льется потоком, как из трубы, а начинать надо по капельке – это как микстуру принимать; вы же тоже принимаете свой порошок малыми дозами? Я думаю, что никогда не выучусь по-русски. Кое-что я, однако, записал из того, что услышал в поезде...

Он достал записную книжку и подал «учительнице»: дескать, можете ознакомиться, это, должно быть, русский.

Она читает и начинает хохотать, да так, что весь дом дрожит:

– Послушайте-ка, дамы, что наш юный *дыюг пьинял* за *юусский*!

Она читает вслух:

– *Гейсте райн ин э лавка! Це коифм!* Знаете, что это? Это еврейский жаргон, сдобренный русскими словами. Вам надо почитать Лермонтова и Пушкина, вот где настоящее! Такой музыки, как у них, не найдете ни в одном другом языке.

Тут отозвался бернец Штеттлер:

– Оставьте его в покое, он еще выучит русский. И быстрее, и лучше нашего. А теперь я пойду показывать ему город, чтоб он хоть что-то повидал перед тем, как отбудет в эти захолустные Барановичи. Пойдемте же!

Ребман с готовностью вскочил. Болтовня этих «француженок» ему ни к чему, он хочет услышать живую Россию.

– Но вы там не очень-то разглагольствуйте, – обратилась мадам Проскурина к Штеттлеру, – чтоб он у нас окончательно не растерялся.

Она заводит Ребмана в соседнюю комнату, которая служит ей одновременно и бюро, и спальней, закрывает за ним дверь и говорит:

– Не очень прислушивайтесь к его пустословию.

– А кто он такой?

– Опустившийся студент, вот он кто. По способностям – профессор, но ленив, как боров. Я приняла его за чистую монету, а оказалось – фальшивка. Он мог бы сделать великолепную карьеру, если бы хоть чем-нибудь занялся, кроме политического фразерства. Не давайте ему разговариваться, а то он вас еще смутит. Уж и полиция им интересовалась, потому что он не

умеет держать язык за зубами. Если бы сам консул за него не заступился, быть ему уже в Сибири. Этот только и знает, что ругать русских, пустобрех эдакий. Будьте с ним настороже.

А Штеттлеру велела:

– Сходите с ним в Лавру. И к ужину возвращайтесь. Он еще не раз приедет в Киев, успеет все осмотреть.

На дворе уже приятно потеплело, настоящий весенний день.

Вдоль улицы выстроились извозчики. Один сразу подкатывает:

– Не желаете?

Штеттлер отмахивается, но извозчик едет рядом. И только окончательно убедившись, что из этого ничего не выйдет, отстает.

– Что вы имели в виду, когда спросили, не я ли новая жертва «семьи Потиферов»? – спрашивает своего спутника Ребман. – Это имеет какое-то отношение к мадам Орловой? Вы знаете эту семью?

Штеттлер смеется в ответ:

– Кто же ее не знает? В наших кругах она так же известна, как внизу, на Подоле – клопы и вши.

– Так что же с ними?

– С ними? Вот именно, что ничего. Богатые люди, ничего не делают, даже денег не тратят. Палец о палец не ударят, только и знают, что жаловаться. Скука смертная! Если бы весь мир так же был, как эти...

– Ноют и жалуются? На что же?

– На плохие времена, на то, что евреи, мол, скоро снимут с них скальп. Я имел честь и удовольствие быть вашим предшественником. Мистер Мозер, должно быть, рассказывал вам, ведь мадам Проскурина ему обо всем пишет – конечно же, глядя на вещи сквозь свои очки. Но мне до них всех и дела нет!

– Что, плохое место?

– Да нет же, если со всем соглашаться и спокойно смотреть, как бедные крестьяне гнут спины на семью Орловых, а от тех так и разит деньгами и алчностью. Как они издеваются над бедными евреями и обделяют прочие свои неприглядные делишки. Тут нельзя все время молчать, а то станешь совсем продажным. Я долго терпел, но, наконец, все мне осточертело, я высказал свое мнение, на хорошем бернском! Тем все и закончилось.

– А как они могут притеснять крестьян? Крепостное право ведь отменено?

– Да, на бумаге. А на деле оно существует, да еще и как! Люди из деревеньки Барановичи, которая раньше относилась к имению, беднее церковных мышей. Им всегда достается клочок земли, расположенный с той стороны барских земель, которая затапливается паводком, да и этого клочка ни на что не хватает. Всякий, кто еще хоть на что-то способен, принужден гнуть спину в поместье за поденную плату или даже просто даром, так как они все в долгах. 15 копеек платят женщинам и 17 – мужчинам за полный день работы, с раннего утра до поздней ночи. 15 копеек – это 40 сантимов! И это еще в сезон, а всю зиму у них вообще нет заработка. Маньин, однако, утверждает, но это неправда, что им дают задаток, который они должны отработать. Так же невозможно существовать, даже аскетам и постникам! От этого у них у всех чахотка и другие болезни, и такая высокая детская смертность. Сам увидишь, если тебе, конечно, позволят. Мне сразу же запретили, когда я любопытства ради пошел в деревню. Ты себе и представить не можешь, в каких условиях там вынуждены жить люди, какой это срам и ужас: вместо домов – мазанки, и то наполовину разваленные. Вся семья, родители, деды и все, кто ни есть, – в одной комнате, и больные, и здоровые спят вповалку на печи! Нет ни водопровода, ни даже колодца. Ни света. Ни телефона. Ни магазина. Ни булочной. Ни почты. Ни школы. Ни доктора. Наши горцы в сравнении с ними – настоящие бароны, хотя и тем не до смеха. Ты только представь: все, что хоть чего-нибудь стоит и на что-то пригодно: хорошая земля,

лес, мельница, река, пути и дороги. Заметь, дороги, я не говорю «улицы», улица там только одна – от станции до господского дома. Кроме того, кузница, столярная, каретная, мастерские, сапожная будка – все принадлежит господам. Если мужику нужно в поле, он вынужден идти в обход усадьбы, делая огромный крюк, ведь идти через усадьбу ему никак нельзя: избыют или оштрафуют. Если он хочет смолотить мизерный свой урожай, ему надобно ехать на мельницу, и там он вынужден половину оставить мельнику за помол. Урожай зерновых – это их кусок хлеба, вся Украина этим живет. Остальное – арбузы, огурцы и так далее – выращивают только на маленьких приусадебных участках. Ну и что, ты думаешь, им остается? Даже не поденная плата, ее тоже отбирают за дрова и прочее. Раньше, когда они были крепостными, хозяин был в них заинтересован хотя бы как в скотине; а теперь и этого интереса не стало.

– И что, по всей стране так?

Штеттлер ухмыльнулся:

– Думаешь, настоящие богачи, аристократы, графы, князья и компания меньше этих помещичьих имеют? Сто тридцати тысячам лентяев, бездельников и обербездельников с оберлентяями принадлежит вся Россия. Из-за этой обломовщины закончилась райская жизнь.

– Обломов...

– Да, Обломов. Это герой романа Ивана Гончарова. Наричательное имя для тех, кто считает труд позором и Божьей карой, а обжорство и пьянство – достойным занятием. Тех, кто использует свое происхождение и образование, чтобы вить веревки из других людей. Они богаты настолько, что могут купаться в золоте, но внутри у них ни пылинки золотой нет. Они жирны, потому что ленивы, и ленивы, потому что жирны. О таких в России говорят «обломовщина».

– А барчук?

– Петр Николаевич? Бывают люди, которые считают огромным счастьем для своего дитяти, чтобы оно родилось на шелковых подушках и воспитывалось нежными руками в шелковых перчатках. К таким относится мадам Потти..., в общем, мадам Орлова.

– И ты говоришь, что нет школы? Я думал, такого уже не бывает в современной Европе.

– Ты Россию Европой не считай. Это Азия, так в книжке и написано. Русские деревни, в которых есть школы, можно пересчитать на пальцах одной руки. И людей, что могут читать и писать, тоже, – я имею в виду, в деревне. Там нет грамотеев, кроме попа, и тот, конечно же, на стороне помещиков.

Крестьяне сами по себе разобщены, даже не знают, когда кто в уездный город едет. Они вообще ничего не знают! А вот барин, тот знает все, все имеет, все может. Он – все и во всем. Это меня как раз и выводит из себя: с одной стороны – кучка паразитов, которые вот-вот лопнут от пресыщения, а с другой – прозябающие в нищете миллионы тружеников. Такое можно увидеть разве что в азиатской глубинке; тут нужно бы что есть силы ударить молотом. Но до этого дело еще дойдет – их конец неизбежен, как аминь в конце обедни. Стоит только начаться войне, царское хозяйство разлетится ко всем чер...

– А господин Мозер мне ни о чем таком не говорил.

– Он об этом ничего и не знает, он и в деревне-то ни разу не был. Он один из тех, кто превозносит Россию до небес просто потому, что ему показали только красивую сторону русской жизни.

– Вот оно как. А я-то думал, здесь можно продвинуться. А за что они так взъелись на евреев, чем это они им не угодили?

– Чем может несчастный русский еврей не угодить дворянскому отродью? Да уже тем, что он на свет появился, уж одно это для черносотенцев – как бельмо на глазу.

– Как ты сказал, *чер-на*....

– Черносотенцы, это ультрареакционеры, черная сотня, те, кто затевает погромы и больше всего хотели бы вернуть деспотический режим. Это из-за них страна дошла до такого

состояния во всех отношениях. Они заинтересованы в том, чтобы народ оставался темным и неграмотным и не смог объединиться, ибо тогда они получают на орехи. Но все еще придет, дай только срок: яблоко когда созреет, то само падает, не нужно и дерева трясти. Это на руку туркам. Еще одна такая война, как русско-японская, и им опять всыпят по первое число, потому что их солдаты будут воевать в лаптях и без амуниции, в голоде и холоде. Тогда дело пойдет ох как быстро! Это будет радикальная чистка, без которой не обойтись. А вот тут-то и Криви Штеттлер скажет свое слово!⁸ Тогда мы им покажем что по чем! Вот смотри, как раз иллюстрация к нашей теме!

Они вышли на большую площадь. На ней повсюду видны фигуры, сидящие прямо на земле. Более печальную картину трудно вообразить: полностью обнищавшие люди, в разодранных, обветшалых, латаных овечьих тулупах, сапогах гармошкой, из которых торчат пальцы ног. У большинства даже нет приличной обуви, только лапти с обмотками вокруг стоп и голеней. И выражение этих глаз! Ребман никогда бы не подумал, что в современном мире еще обитают такие создания, об этом в курсе географии ведь ничего не сказано.

Они сотнями слоняются по площади, попрошайничают, протягивают прохожим шапки и кланяются каждому до земли. Между ними есть и слепые. И калеки, недвижно стоящие в снежном месиве.

– Это нищие?

– Нет, это паломники. Теперь как раз их время. Паломничество в святую Лавру – самое главное событие в жизни верующего русского человека. Они приходят со всей России, даже из Сибири, после долгих недель пути по снегу и мерзлой грязи. И вот они здесь – как и мы, но по другой причине. Мы тут из любопытства, они же пришли молиться и приносить жертву. Да, в эту богатейшую Лавру, именно сюда несут эти люди свои копейки, которые они годами копили, отказывая себе в еде, чтобы здешние насельники могли еще подзолотить купола и навесить драгоценных камней перед святыми. Трудно поверить, что такое возможно, если не увидишь все своими глазами. Ты ничего особенного не заметил?

– А, да, вот эта женщина, у нее нет носа! И у той тоже! И вот еще у той! У них лица плоские, словно расплюснутый трамваем пятак: раз – и все. Я думал, таким надлежит о себе заявлять.

– К сожалению, нет. Это как раз одно из следствий той жизни, на которую их обрекли. Почти всех их пожрал сифилис, иногда они увечны уже от рождения. У вон той начало гнить основание носа, потом хворь пойдет вглубь, до спинного мозга, тогда болезнь ее уже полностью сразит. А эти женщины ведь еще и детей рожают!

– И что же, с этим не борются?

– А кому это нужно? Кто об этом знает? Они же не ходят и не рассказывают об этом всем подряд. Те господа из поместья, не сказали бы на это ничего, кроме «убирайся к черту», как только заметили бы, чем эти люди заражены. А если бы они и обратились к врачу, какой в этом прок? Ведь обращаются они тогда, когда все равно уже слишком поздно. Тут нужна железная метла, чтобы вычистить эту и другие гадости. Такой метлы Ники уж точно в руки не возьмет. Ему, тряпке и ничтожеству, ее даже не поднять.

– Не так громко, нас ведь могут услышать!

– Вот и хорошо. Я им еще покажу, дай срок: однажды они уже хотели меня сцапать, могли даже и выслать... – он указал пальцем вдаль, – известно куда! Ничего у них не вышло, Криви Штеттлер из Нидерхазли – крепкий орешек, он оказался им не по зубам!

Ребману этот разговор неприятен.

– Дивен Киев-град, – говорит он. – Правда, он не такой прекрасный, каким кажется, когда выезжаешь из лесу и видишь его как на ладони, но ужасно интересный.

⁸ Криви – уменьшительное от Кристиан (прим. переводчика).

– Киев – самый красивый город в России. Прежде – столица государства, теперь – столица паломников, которые из года в год стекаются сюда тысячами из всех провинций этой огромной страны в Святую Лавру. Лавра – старейший русский монастырь, и поэтому уже богатейший. В ее пещерах, которые тянутся отсюда вниз до самого Днепра, говорят, скрываются несметные сокровища.

Там, за этой площадью, Дума. А вон тот господин впереди, что сияет на своем царственном пьедестале, – премьер-министр Столыпин, праведник, которого застрелил в Киевской опере один из народовольцев, стрелял на глазах у самого царя. Памятник еще совсем новый, только что освятили. Скульптор – испанец по имени Хименес, он бывает у нас в Доме. Быть может, ты увидишь его там уже сегодня.

– Здесь есть красивые дома, но все как-то больше в восточном вкусе.

– Россия и вправду ближе к Востоку, чем к Западу, во всех отношениях. Куришь?

– Да, но я оставил свои принадлежности в чемодане, совсем позабыл в суматохе. Разве тут негде купить?

– Разумеется, можно. Вон там как раз палатка. Но ты возьми, попробуй мои, «Бризаго».

– Нет, они для меня слишком крепки, да и хочется самому купить, самое время попробовать поговорить по-русски. Подожди-ка минутку.

Ребман подходит к стойке и произносит одно только слово, которое, по его мнению, должна понять каждая продавщица табака в любом уголке мира. Но эта, очевидно, не понимает: она ему протягивает сигариллы. Он качает головой и повторяет то же слово, на этот раз медленнее и четче.

Она показывает пальцем: ну вот же!

Ребман снова качает головой.

Тут как раз мимо проходит полицейский. Торговка ему что-то сообщает. Тот подходит к стойке и спрашивает иностранца в фетровой шляпе:

– Чего желаете?

– Я уже сказал трижды, что желаю си-га-рет!

– Ах вот что, – смеется полицейский, – он хочет папирос!

И только теперь покупатель получает вожделенную пачку.

Полицейский берет одну сигариллу и говорит:

– Месье, вот это – *цигарета*. А та, что у вас в руке, это па-пи-ро-са!

Он отдает честь и идет себе дальше. Тогда Ребман спрашивает у продавщицы на чистом русском:

– Сколько стоит?

– Четвертак, – отвечает та.

Господин гувернер в замешательстве: четвертак? Такого числа не было в его путеводителе. Тогда торговка берет у него пачку из рук и указывает на обозначенную там цифру:

– Двадцать пять копеек!

Тут Ребман понимает: двадцать пять, это же *fünfundzwanzig*. Он достает десять копеек и подает продавщице.

Женщина качает головой. Выставляет обе пятерни перед Ребманом. Потом еще раз обе, а потом – одну.

– Двадцать пять! – говорит она отдельно, словно глухому, – двадцать пять, понимаете?

Тут к стойке подходит Криги:

– Что это тут за торг?

– Она хотела всучить мне пачку сигарет за 25 копеек, думает, я дитя малое, младенец, что ли? Больше 10 не дам ни копейки. Мадам Проскурина мне еще нынче утром особо указала, что в России никогда не платят, сколько просят, следует всегда торговаться.

Криги хохочет:

– Так-то оно так, но это не касается табака, на него у государства монополия: цена предписана. Дай ей сколько просит. Не все в России мошенники, далеко не все.

Когда они пошли дальше, Ребман спросил:

– Как давно ты уже здесь?

– Я? Целую вечность! Уж и не верится, что я когда-то был где-то еще.

Они подошли к холму, у подножья которого стоял большой красивый памятник, тоже новый, даже блестит, словно из золота.

– Это памятник Александру Второму, – говорит Штеттлер, – а там Владимирская горка, наверху стоит статуя святого Владимира, покровителя Киева, с золотым крестом: его сияние видно далеко в окрестностях. Это и есть символ Киева.

Они идут по чудесному парку, где играет военная музыка. Такое же безысходное нытье, как на рынке у Швабских ворот в городе на Рейне, так грустно, словно сраженный саблей солдат воет от боли.

Но тут Ребман вдруг оказался один на один с чем-то грандиозным, с тем, что с первого взгляда чувствуешь и чего никак не измерить европейскими мерками. Вот она та Россия, о которой шафхаузенский фабрикант говорил, что ее величие еще никто не смог определить. И покорить ее тоже никто не смог, даже Наполеон с его военным гением и огромной армией. Но вот это покорит любого:

Днепр, могучий и широченный, как же он блестит и переливается в лучах предвечернего солнца! И дальше за ним, насколько может охватить глаз, – леса. Ни деревни, ни города, ни хутора, ничего, кроме бесконечного, стоящего в воде леса.

Даль, простор. Тут видишь мир во всем его величии, мир, как он есть, не в масштабе 1:1000, как дома в Швейцарийке. Даже дрожь пробирает. Мороз по коже.

– В какой стороне Барановичи? – спрашивает он у товарища. Штеттлер показывает прямо в сторону залитых лесов: где-то там, в том направлении. И снова Ребмана бросает в дрожь: в такой глуши, на краю света!

– Это все вода от ледохода, – объясняет Штеттлер. – Каждый год весной наводнение покрывает площади величиной со всю Швейцарию. Днепр преодолевает отсюда до Черного моря расстояние почти в тысячу километров под уклоном всего в девяносто метров. Потому он делает так много поворотов, словно змея, извивается во все стороны. И когда тают снега и начинается ледоход, Днепр несет такое количество воды, что невозможно представить. Не описать словами, что он тащит на своей широченной спине: целые деревни, иногда даже и с людьми вместе. Только представь себе количество воды здесь, когда она отовсюду стекается, а земля ее не берет, потому что сама на полтора метра вглубь промерзает и оттаивает только поздней весной. Приходится мобилизовать все пожарные части, а жители Подола – так называется прибрежный район города, в котором живут почти одни евреи – должны все бросить и бежать в чем есть, иногда в одной рубашке. Богатствами, смытыми водами Днепра, можно озолотить пол-Швейцарии. Так и русский народ: добродушен, терпелив, безмерно миролюбив, но если грянет!..

Он вытягивает вперед руку:

– Десять дней можешь скакать в том направлении, десять дней и десять ночей, и ни до какой границы не доскачешь. Все время слышишь вокруг только русскую речь, в поезде видишь только русские мундиры и на станциях – только русские надписи. Она тянется до конца света, эта бесконечная Россия.

Он достает часы:

– Половина четвертого. На Лавру времени уже не хватит. Но ты ведь еще будешь в городе, сходим, когда поток паломников схлынет, тогда будет лучше, чем в нынешней толкотне и вонище. Тут может и дурно сделаться ненароком, а некоторые богомольцы даже вшей с собой приносят. Вот она Лавра.

Он показывает на холм, покрытый лесом из позолоченных куполов и крестов. Теперь Ребман видит вблизи: по четыре малых купола с каждой стороны, а у некоторых церквей – целое множество, посредине же – один огромный, увенчанный золотым греческим крестом, со всех сторон закрепленным цепями. Это стоит того, чтобы посмотреть, даже если придется ехать издалека. Но как подумаешь, что тут такой блеск и богатство, а там, на площади, внизу города – такая бедность! И они еще приходят и оставляют здесь пожертвования!

Дома все общество уже за чаем. Блестящий отполированный самовар стоит на столе и поет свою нежную песенку. Но его никто не слушает. Пришли новые гости: слышен немецкий, французский, английский, все попеременно. Около хорошенькой молодой ирландки (как бы Ребман хотел, чтобы это она его превозносила, а не отвратительная Аннабель!) сидит элегантный мужчина средних лет с белой хризантемой в петлице и с альбомом для рисования в руках, внимательно смотрит на ирландку, беседует с ней и рисует ее как бы между прочим.

– А *вуаля*, – восклицает мадам Проскурина – месье Хименес, позвольте вам представить господина Ребмана, который только что прибыл из Швейцарии.

Господин в голубом сюртуке и с жемчужиной в галстухе поднял глаза и протянул Ребману руку вместе с карандашом:

– *Бонжур*, молодой человек! Как вам нравится Россия?

И вот он уже снова занят своим рисунком. Что Ребману как раз и на руку, он ведь не в состоянии дать хоть сколько-нибудь вразумительный ответ по-французски. Он чувствует себя таким никчемным перед этим множеством дам, сидящих здесь, пьющих чай, курящих сигареты и говорящих на всех языках мира. Одна все твердит о княжне, которой дает уроки, другая – о поездке, в которую она как раз собирается с господами, третья – о пьесе или фильме, или концерте, на котором побывала.

Дама средних лет, по виду учительница верховой езды после хорошей прогулки, при всяком случае упоминает своего супруга:

– О если бы *mon mari*⁹ мог это увидеть, он обожает синематограф!

«Красавица» Аннабель сидит тут же, однако ничего не говорит, все больше молча восхищается новоиспеченным русским швейцарцем. А неудачник Штеттлер приплел бородатый каламбур по этому поводу: когда новый дон приходит в дом – за каждой дамой надзор нужен!

А Ребман думает: «Бог ты мой, лучше бы я пошел в Лавру, лучше набраться вшей, чем сидеть здесь на потеху всей компании».

Вдруг он почувствовал, что у него горит спина, ясно ощутил жжение сзади, как будто кто-то поднес горящее железо и держит у него за спиной. Он обернулся. И увидел, что его зарисовывает скульптор.

– Не шевелитесь, – говорит маэстро, – меня заинтересовала ваша голова.

И тут уже все смотрят на него. Ребман вдруг почувствовал себя совершенно раздетым в этом изысканном обществе.

Наконец одна из дам замечает:

– Да, он милый мальчик. Наверное, у него еще никого нет!

И после этого замечания все закудаhtали: не влюблен ли он еще?

– Нет, – отвечал герой, – пока я наконец соберусь с силами и решусь объяснить, все уже успевают дважды выйти замуж.

Тут они начинают обсуждать швейцарцев.

– Швейцарцы, – начала мадам «Монмари», – хорошие ребята, просто несколько ограничены. Каждый итальянец, и каждый англичанин, и каждый француз, не говоря уже о русских, открыт по натуре всему миру, а швейцарцы – нет.

⁹ Мой муж (*франц.*)

– Это оттого, что их в школе не воспитывают в подобном духе, – говорит другая. А первая снова:

– *Mais non*, нет же, причина не в этом: швейцарец – не продукт своей школы, да и все остальные таковыми не являются, все мы производное от своего народа!

Но тут мадам Проскурина вступает за своего подопечного:

– Не мучьте хорошего парня, я не хочу, чтоб он завтра уезжал от нас с тяжелым сердцем!

Тут Ребман вспоминает о том, что же его ждет впереди, а то он уж было совсем позабыл об этом. Он направляется к Штеттлеру, который одиноко сидит у окна и смотрит вниз на Крепчатик. Следует хоть из вежливости расспросить его о Барановичах. Но новый приятель лишь качает головой:

– Я поразмыслил об этом деле. И вот тебе мой совет: разумнее всего молчать обо всем, что там увидишь и услышишь. Сам посуди, ты сможешь покрыть все свои расходы на дорогу. Их условие, чтобы ты проработал не меньше года. За это время где-нибудь откроется другая дверь. А пока потерпи, раз уж ты согласился на это место.

После ужина мадам Проскурина спросила, не желает ли кто сходить в синематограф на фильм «*Quo Vadis*, или Камо грядеши», тогда мог бы и новенького взять с собой.

Ребман отвел ее в заднюю комнату. И сообщил очень осторожно, что с удовольствием сходил бы, но у него вряд ли хватит денег. Сколько стоит билет?

– Вовсе ничего не стоит. У меня билет один на всех. Мы можем пользоваться ложей княгини, когда она сама не посещает сеанса. А что до остального, то я могу вас выручить, для этого я и здесь. Сколько у вас осталось?

Ребман достал портмоне и подал ей. Она сосчитала и говорит:

– На дорогу в Барановичи хватит. А там уж вам деньги не понадобятся.

– Да, но без копейки в кошельке я ведь никуда не смогу выехать. Я бы с удовольствием снова приехал в Киев, у меня ведь два выходных в месяц.

– Тогда попросите аванс или напишите мне. А теперь отправляйтесь!

Они пошли. К сожалению, красавица-ирландка не составила им компании: за ней явился благородный господин и забрал с собою.

Синематограф находился совсем рядом. Еще днем Ребман видел его: со множеством огней, цветными картинками и большими рекламными афишами. Он ни разу еще не был в настоящем синематографе, разве что еще ребенком, деревенским школьником, когда в здании школы показывали самую первую фильму. Тогда посреди зала установили огромную железную штуку. Окна завесили черной тканью. И вот разрешили всем входить и смотреть на это чудо: детям за двадцать, взрослым – за пятьдесят сантимов. Длилось это не дольше четверти часа, а показывали все одно и то же: пожар на лугу, полный пруд уток, эскадрон драгун. И тарыхтело так, что никто не мог разобрать ни слова. А изображение скакало туда-сюда, так что глазам было больно. Но для тамошних крестьян это все равно было чудом, они все были на седьмом небе: вот стога сена с запахом гари, галопом скачущие драгуны и утки, плещущиеся в воде! Он еще помнит, как одна тетка выскочила из дома и заголосила на всю улицу: «Глядите на утей! Айя-йя-йя! Айда все смотреть!» А господин Майор потом сказал, что за этой штукой будущее, и что это еще большее изобретение, чем фонограф!

Зал, в котором все ждали начала сеанса, был заполнен до отказа. Он был огромен – как весь театр городка на Рейне вместе со сценой и гардеробом. Можно прогуливаться и рассматривать публику или присесть и послушать оркестр, играющий «Неоконченную» Шуберта. Настоящий симфонический оркестр, который играет лучше, чем на абонементных концертах в Шафхаузене или Констанце. Намного лучше, уж в этом Ребман точно кое-что смыслит.

И женщины все красивые, элегантно одетые. Фабрикант, кстати, тоже говорил, что Киев знаменит своими красавицами. И даже доктор Ной предупреждал!..

И евреи здесь тоже есть. Они громко разговаривают и ведут себя так, словно этот синематограф – их собственность. Один заявляет: «Да, милые вещицы есть, однако, у этого Шумана!».

Наконец, после часа ожидания, их впускают. И в зале Ребман снова, как когда-то давно в оперетте города на Рейне, совершенно очарован всем происходящим. «О, если бы я только мог остаться в Киеве! – думает он. – Как же повезло всем тем, кто здесь обустроился!»

Глава 6

На следующее утро мадам Проскурина занята своим новым подопечным. Берет ему билет и плацкарту. Затем устраивает его в таком же вагоне, как тот, в котором он прибыл, с той же надписью – «Киев-Волочиск».

– Я что, еду обратно? – вопрошает Ребман удивленно.

– Да, – шутя отвечает мадам, – но только не так далеко. Просто Барановичи расположены на линии «Киев-Волочиск».

Она передает его на попечение кондуктора и велит выйти на первой остановке.

– До нее ехать четыре часа, так что не вздумайте все это время простоять у выхода, как одна гувернантка, которую я когда-то давно так же отправляла в Барановичи. Когда выйдете, спросите кучера из поместья, за вами, конечно, пришлют. Вы узнаете его по карете и ливрее. В любом случае, кроме вас, на станции никто не сойдет. Возможно, месть Эмиль приедет сам.

– Месье Эмиль?

– Так называют господина Маньина, управляющего имением.

– Это тот швейцарец, который прежде был домашним учителем?

– Да-да. Ужасно милый человек, не намного старше вас. Вы наверняка подружитесь. Если же он сам не приедет, спрашивайте кучера Орловой. Просто скажите «ку-чер Ор-ло-ва». Погодите, я вам напишу. И сразу сообщите, чтобы я знала, что все благополучно.

И вот гувернер Ребман отправляется в путешествие со многими «неизвестными». Откинулся в мягком удобном кресле. Курит папиросу. Прислушивается к разговору: теперь с ним едут одни русские. И снова возникает чувство, как будто хлопья снега падают на него со всех сторон. Язык – словно музыка. Даже голоса у этих русских другие, намного мягче, должно быть, у этих людей в горле совсем другой инструмент. Вот если бы еще хоть что-то из этого понимать! Но нет – ни слова, ни одного. Он чувствует себя выброшенным в море, где все вокруг бодро плывут к берегу, и только он один беспомощно тонет.

Поезд едет сквозь залитый водами лес, как по просеке. Иногда минует станции, но ни одной деревни поблизости не видать. Тут Ребман вспомнил, как фабрикант из Рейнгорода говорил, что русские железные дороги строились по стратегическим принципам, они соединяют между собой важнейшие пункты. Здесь никто не старался проложить пути к каждому хутору и сделать полустанок у каждого хлева.

Около 11-го часа вошел кондуктор:

– Ваша станция!

Поезд тут же остановился, но только на минутку – сигнал колокола, три удара. И вот стоит наш швейцарец, один как перст, посреди маленького перрона на захолустной станции.

Со своим парусиновым чемоданчиком в руке направляется он к станционному смотрителю и протягивает ему записочку мадам Проскуриной.

Смотритель кивает, показывает в сторону низенького деревянного домика. И любопытствует:

– А галоши есть?

Ребман его не понимает. Он говорит «*мерси*». Заходит за дом. И сразу понимает, о чем хотел спросить смотритель: перед ним простиралась не привычно чисто выметенная площадь, как дома, а желтоватое озеро, которому ни конца, ни края не видно. Не обнаружил он и экипажа с ливрейным лакеем на запятках. Стоит лишь одна допотопная повозка, запряженная двумя взъерошенными лошадками, а сверху на козлах – молодой парень в красной рубахе и фуражке с козырьком.

«Они обо мне забыли», – думает Ребман, возвращается к зрителю и спрашивает по-немецки, можно ли от него позвонить по телефону. Но мужчина в окошке его не понимает. Тогда Ребман выпалил скороговорку, которую он зубрил всю дорогу: «кучер Орло-о-о-ва»!

Служитель выходит из бюро, открывает заднюю дверь:

– Да вон он стоит!

Тут нашего «придворного воспитателя» осенило: тот парень в красной рубаше с соломенного цвета волосами и есть пресловутый «кучер Орло-о-о-ва». А ведь малый не подал никакого знака: застыл на своих козлах, неподвижно глядя перед собой, никого и ничего не замечая вокруг.

Тут уж Ребман почувствовал себя полным дураком. И пошлепал через площадь, по косточку в воде. Протягивает белокрысому парню записку. Но тот качает головой и что-то бормочет себе в бороду: судя по всему, он не умеет читать. Тогда Ребман вопрошает, уже в полном отчаянии:

– Кучер Орло-о-о-ва?

И тут лицо парня просияло, улыбаясь во весь рот, он скинул шапку:

– Так точно-с!

Но и теперь не спустился. Господину гувернеру с чемоданчиком пришлось самому взбираться на повозку, которая представляла собой подобие перевернутой широкой и плоской ванны, куда набросали сена и протянули поперек веревку. Он еще не успел усесться, как кучер, словно очумелый, понесся по озеру. Будто пьяный, с криком летит он во весь опор:

– И-и-и! Но-о-о, черт-и-и!

– Не так быстро, – кричит Ребман, – не гони так безумно!

Но кучер понял все наоборот, решил, что для гостя езда недостаточно бойкая, а ведь он желает оказать чужестранному барину честь и показать, на что способен:

– И-и-и! – орет он вовсю, – но, пошли!

Тут Ребман ухватился двумя руками за веревку и тоже стал орать во все горло, расходуя весь свой запас русских слов:

– Ши-иии! Боо-оорщ! Ку-леее-бья-аа-каа! – все слова, которые только знал.

Они уже выехали из озера на широкую грязную дорогу. Это, верно, и есть «улица», фабрикант ведь говорил, что улица у русских там, где можно проехать, а река – там, где вода течет.

Дорога пошла в гору, но только самую малость, и они все так же скачут галопом.

– И-и-и! – орет краснорубашечник, и лошади мчатся так, словно за ними и вправду сам черт гонится. Еще никогда в жизни нашего Ребмана так не болтало и не трясло.

Ни лугов, ни садов, ни кустов, ни заборов, ни телеграфных столбов, ничего в этом роде нигде не видно. Ни одной горки, совсем ничего, кроме черной равнины то тут, то там залитой водой. Так, должно быть, выглядел мир в первый день творения, о котором Святое Писание говорит: «Земля была безвидна и пуста...»

Вдруг со стороны поля послышались возгласы. Ребман повернулся: на большом участке пашни стояла целая толпа босоногих девок и парней, махавших руками в их сторону. Тут он уже без слов все понял, отпустил наконец веревку и махал в ответ, пока они не пропали из виду.

Они уже ехали около получаса, когда кучер вдруг сделал знак кнутом. Ребман смотрит ему через плечо и видит внизу на склоне церковь с зеленой башенкой, а рядом – окруженное со всех сторон деревьями длинное низкое строение, тоже белое с зеленой крышей.

Вероятно, это и есть господский дом.

И действительно, уже через минуту они остановились у его ограды. Кучер командует паре: тпру-у-у! Спешивается. Открывает ворота. И они въезжают в усадьбу. И тут дороги нет, только колея от повозки с уже успевшими зарости травой рытвинами.

Из дома к ним навстречу выскочили два огромных пса, волкодавы-бернардинцы.

– Милорд! Леди! – кричит им вслед элегантный господин с кудрявой головой. Затем он спускается с террасы и представляется:

– Маньин, – и подает Ребману руку. И тоже первым делом интересуется, есть ли у приезжего галоши.

– Меня уже об этом спрашивал станционный смотритель в Барановичах.

– И недаром: в России без галош – как без рук. А вот зонтик можно было и не брать.

Кучер делает вид, что чего-то ждет. Маньин жестом отсылает его. Затем он просит прощения за то, что не прислали лучшего экипажа. По такой грязи, как нынче, порядочному экипажу просто не проехать.

Когда они по большой циновке из кокосовых волокон зашли в переднюю, то увидели целую выставку галош всех размеров.

– Вот, взгляните, – показывает Маньин, пропуская Ребмана в комнату. – Приведите себя скорее в порядок, сейчас подадут обед. Распакуйте только самое необходимое: скорее всего, вы завтра же поедете с нами на Кавказ.

Ребман поставил чемодан и осмотрелся. Довольно маленькая, но уютная комната: слева от дверей – выкрашенный белым шкаф, рядом – простой комод, железный умывальник, такой же, как в семинарском общежитии, справа – железная кровать, а в углу напротив – икона с горящей перед нею красной лампадкой. Под окном впереди – стол. Из окна сквозь кусты бузины видны деревянные домики, выстроенные в ряд, некоторые – тоже под зелеными крышами, некоторые – покрыты соломой или черепицей, а кое-где – и вовсе досками.

Ребман умылся и побрился. И тут в дверь постучали. Женский голос что-то кричит по-русски, а он опять ничего не понимает.

Через минуту снова стук:

– Барин, кушать подано!

Ребман вышел в салон, где его уже поджидал щегольски одетый Маньин:

– Вы не поняли, что кричала вам девушка?

Ребман качает головой, он выучил кое-что по-русски, но, кажется, как раз те слова, что не употребляются в живой речи.

– Обед подали, значит, уже накрыли на стол.

Они входят в большую, выкрашенную светлой краской комнату. За накрытым столом стоит старушка с завитыми снежно-белыми волосами.

«Кто-нибудь из прислуги», – думает Ребман.

Но Маньин ему говорит:

– Подайте же даме руку!

Ребман обходит вокруг стол и приветствует «даму». Она приветливо улыбается и произносит что-то вроде «*мецки-и-нанимаю*». Маньин переводит:

– Татьяна Петровна не понимает по-немецки. Она дальняя родственница семейства Орловых и живет с нами.

Пока он это говорил, послышались быстрые шаги, а затем – оживленный голос:

– А, месье Ребман, *бонжур!* Хорошо добрались?

– Мадам Орлова, хозяйка дома.

Ребман все пытался вообразить, как же может выглядеть хозяйка такого большого поместья. Конечно, он не ожидал увидеть важную даму, в короне и со скипетром в руке. Однако на такую роль скорее подошла бы особа представительная, чтобы сразу было видно, что за птица. Он почти страшился своей встречи с нею. Но вот она стоит перед ним – и страха как не бывало: вылитая няня из родной деревни, та, что присматривала за маминой лавкой и помогала ей на рынке. Он широко, от всей души улыбается. Она, тоже с улыбкой, приветствует гостя на хорошем французском:

– *Soyez le bienvenu! Voila mon fils Pierre.* Добро пожаловать! А это – мой сын Пьер.

Она указывает на рослого парня в шелковой русской рубаше, который подходит и с принужденным поклоном неуклюже подает «лапку»:

– *Бонжур, месье!*

Сначала Ребман несколько озадачен: они с учеником почти одного роста. Но как же он похож на Александра Третьего в молодые годы! Однако учитель заметил, что, выговаривая слово «*месье*», молодой человек «цыкает», совсем как маленький ребенок.

А вот вошел видный офицер: седеющая борода, три звезды на погонах, похожих на золотые драпицы.

– *Colonel* Куликовский, друг семьи, – представил его Маньин.

– Ну, прошу всех к столу! – говорит Мадам, и все рассаживаются по местам. Ребман садится, куда ему указано: как раз визави своего воспитанника.

Девушка в белом фартуке и чепчике подает. Татьяна Петровна разливает суп по тарелкам.

Тут всего вдоволь, полные блюда с разными яствами. Свежая редиска и к ней – четыре-пять сортов хлеба, очень тонко нарезанного. И водка. Оба господина, Маньин и офицер, сразу выпивают по одной и заедают соленым огурцом с черным хлебом.

– Эх!

Ребману тоже хотели налить: русская водка просто чудо как хороша! Но он отказывается. Он непременно тут же свалится с ног, смеясь, поясняет Ребман, он еще никогда не пивал водки.

– Еще научитесь, – заговорщицки ухмыльнулся Маньин.

Но у Ребмана другие заботы: его теперь больше занимает этот юный блондин напротив, с голубыми глазами и носиком, как у мопса. Мальчик сидит, скучая, одну руку все время держит под столом, другой ковыряет редьку, словно это клубника. Из всего предложенного он ест только белый хлеб, и то выковыривает мякоть, разминает ее всеми пальцами, скатывает в шарики и, наконец, проглатывает.

«Если б я что-либо подобное себе позволил, мама тут же прогнала бы меня из-за стола», – думает Ребман, и учительская совесть подсказывает ему, что такого следует выставять за дверь. Он взглянул на Мадам: она не обращает на сына ни малейшего внимания, сама черпает, ест и причмокивает, говорит с полным ртом, теперь уже по-русски.

Но полковник, он-то как ест! Когда жует – медленно, можно даже сказать торжественно – вся его огромная борода величественно движется то вверх, то вниз. Время от времени он проводит мизинцем вдоль усов, чтобы ничего не осталось снаружи. Позднее Ребман часто наблюдал, с каким достоинством едят мужчины с окладистыми бородами.

На первое подали хороший суп из капусты, с булочкой на манер «берлинера», только вместо повидла внутри – фарш из рубленого мяса. Затем были пироги с мясом под золотистым соусом из сливочного масла. Удивительно изысканные на вкус, они просто таяли во рту, но к ним не подали гарнира.

Потом принесли «Петькино любимое блюдо», куриное фрикасе. Его он взял достаточно, хотя не очень-то силен по части еды. Так, по крайней мере, сказала Мадам, глядя на своего отпрыска влюбленными глазами в то время, как он кусок за куском поглощал нежный пирог. Мальчик нуждается в усиленном питании, так как он очень внезапно вырос, а крепким здоровьем не отличается.

Последнее блюдо оба господина, Маньин и Полковник, запивали чем-то неизвестным. Ребман увидел, что того же предложили и Пьеру. Тогда он и сам с радостью пригубил. Но после первого же глотка смекнул, что здесь что-то не так, и поставил стакан на место.

– Это квас, – пояснил Маньин, – наполеоновские солдаты прозвали его «свинским лимонадом».

«И были правы», – про себя подумал Ребман.

На десерт подали крем – так, во всяком случае, решил Ребман. Но когда он взял полную ложку и сунул в рот, у него просто волосы дыбом встали: такой холод прошел по всему телу. Тогда он набрал в ложку уже совсем чуть-чуть и подождал немного. Все остальные берут по две ложки и всякий раз перед тем, как зачерпнуть, опускают ложку в воду.

– Вам наверняка знакомо это лакомство, его ведь в Швейцарии тоже едят, это, по-нашему, глясе, а по-русски – мороженое, их любимое угощение. Вы еще научитесь этому удовольствию!

Но Ребман извиняется, ему этого нельзя, его желудок не переносит подобного.

Когда все уже поели, Маньин бросил взгляд в сторону Мадам:

– Можно?

Она кивает:

– Можно!

Тогда все встают, трижды крестятся на икону в углу, мальчик не отстает от взрослых. Потом все целуют хозяйке руку.

– Это такой обычай, – пояснил после Маньин, – таким образом после каждой еды благодарят хозяйку за угощение.

От него не требуется прикладываться к ручке, но поблагодарить на словах он обязан, ибо это подразумевается правилами хорошего тона. А теперь ему пора познакомиться со своим воспитанником. Как раз самое время им вдвоем прогуляться по саду:

– Пьеро, пойдите-ка прогуляться с месье!

– Как я должен обращаться к барчуку?

– Как и мы все. Называйте его Пьер.

Они проходят в сад через салон и крытую террасу. Ребман – справа, воспитанник, в светлой русской рубаше и полусапожках, – слева. Пьер успел надеть галоши и фуражку, совсем детскую, с пуговицей на околыше.

Поначалу они молчат, каждый ждет, что другой начнет беседу. В конце концов Ребман спрашивает молодого человека, говорит ли тот по-немецки.

– *Зэркляйн* («совсем маленький»), – откликается тот почти смущенным от застенчивости мальчишеским голосом.

Господин учитель сразу развеселился: мол, не такой уж и маленький, по крайней мере, на вид.

Тут уже засмеялся и воспитанник:

– Надо было сказать *wenig*, а не *klein*!

Они медленно прогуливаются вниз по дорожке, затерявшейся в зарослях парка. Вокруг валяются сучья, деревья выглядят совсем одичалыми, ничуть не ухоженными. Дорожки позарасти травой. Скамейки вот-вот развалятся.

«Видно, что здесь нет хозяина», – замечает про себя Ребман. Он и не догадывается о том, что за своим «Петькой» и его новым гувернером внимательно наблюдает мать, которая стоит на пороге выходящей в сад веранды.

– Какой ваш любимый предмет? – спрашивает Ребман у своего нового ученика. Ответ последовал быстрый и решительный:

– История, русская история! Я уже дважды прошел курс от начала до современности. Меня, собственно говоря, ничто другое не интересует.

– А кто из деятелей русской истории вам особенно по душе?

– Царь Иван Четвертый, ошибочно прозванный Грозным! – гордо ответил молодой человек.

На это Ребман удивленно возразил:

– Почему же именно он?

– Потому что он-то уж знал, как надобно управлять Россией!

– И как же?

– Кнутом!

«Ого, да ты и сам уже маленький деспотичный дьяволенок с невинными голубыми глазами!», – думает Ребман, а вслух замечает:

– Но кнут в наше время уже не годится, то было в эпоху средневековья, тогда людей еще умиряли кнутом.

– России это во все времена подходит. Ею можно управлять только плетью. К сожалению, у нашего Николашки кулак слаб. Вас удивляет, что я говорю «Николашка»? Это, конечно же, не комплимент, но ничего лучшего он не заслуживает.

Ребман решительно отказывается понимать: ведь это же молодой дворянин говорит о своем могущественном государе-императоре! Кажется, его воспитанник что-то заметил и поэтому добавил:

– Не стоит удивляться: так же, как и мы, думают даже его ближайшие родственники. А в народе о нем говорят: сидит у себя в Петербурге и сам боится того, что царь. Знаете анекдот о его появлении на свет?

И тут же с готовностью пересказывает его Ребману:

– Когда родился наш Николашка, повитухи с ужасом увидели, что у него вовсе нет головы. Сначала они чуть не умерли со страху: когда царь-батюшка проведает, велит всех казнить, ведь известно, каков он в гневе! Долго думали они и гадали, как же быть, и, наконец, сошлись на том, что поручат печнику сделать голову, так чтобы никто ничего не заметил: вот эта голова и управляет теперь Россией!

Он зло оскаливается:

– Его императорское величество!

Они проходят через огород. Тут уже все в полном порядке, даже виднеются в земле десятки заранее подготовленных лунок для рассады! И кусты ягод у высокой и широкой стены аккуратно подвязаны – они уже все в цвету. Тачки и грабли и вся прочая утварь начищены до блеска и выставлены в стороне, совсем как в дедовском саду в Вильхингене. Даже цветы есть: розы, лилии, тюльпаны, примулы, незабудки.

«Как дома», – подумал Ребман, и у него потеплело на душе. Когда воспитанник заметил его восторг, он спросил:

– А вы уже видели птичек?

Пьер, крадучись, идет вдоль забора, будто боится кого-то разбудить. Наконец он останавливается и машет Ребману:

– Смотрите, они еще очень маленькие, им всего неделя. Всех котов заперли, а не то – прощайте, птенчики!

Ребман смотрит на него в полном недоумении. Но в тот момент, когда он уже собирался что-то сказать о кнутах для людей и заботе о животных, вдруг услышал:

– Я знаю, о чем вы думаете: почему это он так любит каких-то пичужек, а не людей? Знаете ли, если бы люди были, как птицы и другие живые существа, они не нуждались бы в порке.

Пользуясь случаем, Ребман спросил, читал ли его собеседник Толстого. Воспитанник удивлен:

– Вы произнесли совершенно правильно – «Талстой». Мой бывший преподаватель всегда говорил «Толштой» с ударением на первом слоге! Да, я читал Толстого. Но об этом вам лучше поговорить с маман, в таких вещах она разбирается лучше моего.

– Мне говорили, что семья Орловых была с ним дружна, правда ли это?

– Да, и даже очень дружна, спросите только у маман! А сейчас мне пора, нужно позаниматься – вы ведь знаете, завтра мы уезжаем. Дорога не дальняя, только на Кавказ. Так что до встречи за чаем!

«Всего лишь на Кавказ – звучит так, как говаривал тот богач из Вильхингена, что, мол, быстренько съездил в Милан купить жене новую шляпу», – думает Ребман. Потом он еще немного гуляет по «парку», однако скоро приходит в раздражение – так запущенно выглядит все вокруг. «Впрочем, люди они милые, доброжелательные и вовсе не те людоеды, какими их представлял Штеттлер. Всегда многое зависит от того, каков ты сам и как себя поведешь. Я, во всяком случае, буду стараться не будить спящего медведя. Если он вообще существует, этот медведь».

Послеобеденное время мигом пролетело. В половине четвертого позвали к чаю, и все снова собрались в столовой, как вчера у мадам Проскуриной, и было много вкусного.

Затем Ребман разобрал вещи, обставил свою комнатку, развесил по стенам картинки из «юности» – фотографии своей школы и семинарии. Он еще толком не окончил, а уже снова стучат:

– Барин, ужин подали!

И снова на столе еда. На сей раз перепела! Все говорили по-русски, Ребман, как рысь, наострил уши, но все равно не разобрал ни слова. О чем же они говорят? Конечно же, о тех вещах, о которых пишет в своих книгах Толстой!

Он наблюдает за своим подопечным. Уже в обед ему не понравилось, как тот мусолил пирог с мясом: опершись на локти, накалывал еду вилкой и обгрызал кусок, роняя остатки в тарелку. Сам Ребман, правда, тоже никогда не ел птицы, оттого ему и не невдомек, что ее положено брать пальцами. Но то, так как ест этот парень, уж точно никуда не годится: схватил двумя лапами и рвет зубами, как молодой пес! Ментор хотел уже было одернуть своего воспитанника – это же входит в его обязанности! – но тут он заметил, что Мадам ест точно так же.

Затем они переместились в салон, в котором мебель была покрыта чехлами, словно готовились к переезду. Там Ребман должен был рассказать, как прошло его путешествие и как он себя чувствует в России.

– До сих пор все складывалось очень даже неплохо. Путешествие было хорошим. Во Львове в купе подседа русская студентка, она мне потом очень помогла на границе. Милейшая девушка! Учится в Берне у Кохера, ехала домой в Одессу на каникулы.

Уж не влюбился ли он часом?

– Нет-нет! М-м-м, она была рыжеволосая, а это не совсем мой случай.

– О-ля-ля! – воскликнула Мадам, – мы вас именно об этом и предупреждали! У вас случайно уши не горели? Это же наверняка была жидовка!

– Трудно сказать. Ничего особенного я не заметил. Она ничем не отличалась от других – нет, вела себя даже лучше! Заботилась обо мне, как сестра.

– Это и есть главный их фокус, так птичка всегда сама попадет в сети. Она вас ни о чем не спрашивала?

– Нет, только о том, куда я еду.

– И вы, разумеется, все ей рассказали, со всеми подробностями!

– Ну и что ж тут такого, это ведь не запрещено. Я даже немного собой гордился.

Маньин кивает и говорит:

– Именно в данном случае, возможно, ничего и не было. Но дело совсем не в этом. Чего ради она с вами заговорила? Вы не видели военных в Волочiske и на границе?

– О да, и в большом количестве, начиная уже от Кракова.

– И вы ничего особенного не заметили? Вы что, газет не читаете?

– В тех, что я читал, ни слова не было ни о каких затруднениях...

Маньин не дал ему договорить:

– Но вы ведь видели военных в Кракове? И на границе, и в Волочiske. Если следовать здравому смыслу...

Но тут уже Ребман его перебил:

– Это что? Не допрос ли вы мне учиняете?

Но Маньин очень спокойно возразил:

– Я говорю в ваших же интересах, о нас я не беспокоюсь. В России опасно много болтать, особенно с незнакомцами – от этого уже многие пострадали. Россия – это ведь вам не Швейцария. Про себя можете думать, что хотите, даже что царь – болван (кстати, мы тоже так считаем), но говорить об этом вслух нельзя никому – кроме нас, разумеется. Будьте очень осторожны. В этой стране уже многие о спичку споткнулись, да так, что и подняться потом не сумели.

Тем временем Ребман уже пришел в себя. Собственно говоря, он не так уж и неправ, этот Маньин: то же самое говорил ему и шафхаузенский фабрикант, прямо слово в слово. Он пытается перевести разговор на другую тему:

– А на каком основании вы можете утверждать, что та студентка из поезда – еврейка?

– Как это – на каком? Да ведь девяносто процентов тех, кто в Швейцарии себя выдает за русских, на самом деле – жида, и с русскими у них столько же общего, как у пруссаков со швейцарцами. Какие же они русские?!

– Да, – вступил в беседу молодой Орлов, – достаточно вспомнить русско-японскую войну, которую они нам любезно помогли проиграть! Знаете анекдот по этому поводу? В битве при Мугдэ русские части попали в засаду. Как только командир отдал приказ сложить оружие (потому что перспектива только одна – бойня), все сразу последовали приказу. И только на самом краю цепи кто-то продолжал с остервенением отстреливаться. Командир послал адъютанта передать, чтоб прекратили стрельбу, потому что вмиг перебьют всех разом. Адъютант пришел на место, и что же он видит? В траншее на спине лежала кучка евреев, стреляя просто в небеса!

Тут в салон спустилась и Мадам, сообщив, что она уже собрала все вещи.

– Вы действительно уезжаете? – спрашивает Ребман.

– Завтра утром, восьмичасовым поездом. Если бы вы раньше приехали, то могли бы как раз поехать с Пьером. Но так даже лучше, сможете немного акклиматизироваться.

– Да, но чем же я здесь буду заниматься?

– Ничем, погуляете, попривыкните, обживетесь. Не бойтесь, мы вам не дадим умереть с голоду.

– Да, но я же приехал сюда не бездельничать!

Мадам хохочет:

– Ох уж эти швейцарцы! Вы все думаете, что если вы несколько часов не попотеете, то уж и кусок жизни пропадет впустую. Мы рассуждаем по-другому. Для нас время не имеет значения. Зачем спешить, куда? Вы у нас останетесь до конца ваших дней. *Anproso*, кажется, кто-то неудачно пошутил, сказав, что мы были дружны с графом Толстым?

– Да, так мне сказали.

– И вы подумали, что это для нас большая честь? Так вот знайте же, что для нас никогда не было честью состоять в дружбе с этим паяцем.

Ребман не верит своим ушам. Она называет паяцем величайшего из когда-либо живших на земле! Что это с ней случилось? О царе, своем господине и императоре, полный титул которого звучит как «милостию Божиею Николай II Александрович, Государь, Император и Самодержец всея Руси, Царь Казанский, Астраханский, Царь Сибири, Грузии, Великий Князь Финляндский и Литовский, Ростовский и Подольский, повелитель Великия, Малыя и Белья Руси и многих прочих стран Самодержец и Повелитель», они позволяют себе говорить в уничижительном тоне! Мы же знаем пословицу: «Кто ж перед Богом не согрешил и царю не задолжал?» И о своем величайшем писателе, которым должно бы гордиться, судят как о паяце. Тут уж я ничего не понимаю!

Мадам не ожидает от него ответа и продолжает вещать:

– Он одевался как крестьянин, а жил как великий князь и ездил в первом классе. Спал на чистой мягкой постели, обложенный тридцатью подушками и шелковыми одеялами. Обеды ел из пяти блюд, поглощал еду, как молотилка. О религии и человечности писал, но только писал. Проповедовал целомудренную жизнь, а сам бегал по бабам! А мы плачем по нему и каемся в его грехах. Семьдесят лет творил все, что только позволяют на Святой Руси деньги и имя, а перед смертью вырядился в мужицкую рубаху... *et allors*, скажите же мне, не комедиант ли это?

Ребман знал Толстого со школьной скамьи по его книгам, которые он все перечитал. В школе им восхищались как никем другим, и не только учитель литературы, который считал этого писателя гением, постигшим самую суть вещей, но и учитель религии, почитавший его как второго Христа.

А тут его смеют так унижать! И кто же? Собственные его соотечественники!

Ему вспомнилось, как на уроке литературы однажды речь зашла о личной жизни Гете, и профессор сказал, что на это никак нельзя обращать внимания, ибо речь идет о великих людях: где много света, там и большая тень!

Вслух же он заметил:

– Мало ли что говорят.

Но Мадам качает головой:

– Ни к чему было устраивать весь этот балаган: в глазах тех, кто его не знал, он все равно был бы великим человеком. Но то, что он устроил весь этот спектакль, для меня как раз и является доказательством его шарлатанства. Лермонтов поступил совсем иначе: он до последнего вздоха оставался аристократом.

Воспитанник тем временем снова исчез.

– Он охотнее всего остается в обществе своих любимых книг, – извинилась за сына мать.

Полковник сидит в углу и раскладывает пасьянс. Ни взглядом, ни словом он не вмешался в дискуссию. Поскольку Ребман тоже ничего не говорит – а что можно еще добавить к такому приговору? – Мадам просит Маньина что-нибудь сыграть: так скорее пройдет дурное настроение, которое всегда ее посещает, когда речь заходит о господине из Ясной Поляны. Но тут Ребман спросил:

– Вы действительно знали его лично? Он у вас бывал?

– Вы имеете в виду Толстого? Нет, я его встречала в Москве, и высказала ему все, что о нем думаю.

– А на основании чего же господин Мозер мог утверждать, что вы?..

– О, – говорит Мадам презрительно, – они вместе проходили военную службу в Крыму – как говорится, не одну ночь провели рядом: господин Орлов и Лев Николаевич.

Между тем Маньин завел граммофон. На дивной красоты столике стоял он, «His Master's Voice». Маньин проигрывает пластинки одну за другой, все больше русские, каждый раз объявляя: Нежданова, Шаляпин, Лебедев, Цесевич и так далее. Ребман готов был слушать всю ночь напролет...

В девятом часу еще раз позвали к чаю. Мадам сидит перед самоваром и раскалывает кусальницей сахарную голову. Потом она спрашивает, кому сколько положить, и серебряными щипцами раскладывает куски по стаканам.

– Нет, сегодня я не настроен на сладкое, – говорит Полковник.

Господа пьют из стаканов, которые вставлены в серебряные подстаканники. У каждого свой собственный, это видно из выгравированной на подстаканнике монограммы.

Кажется, наступил момент, чтобы отправляться спать. Все желают друг другу покойной ночи, перед тем перекрестившись и поблагодарив хозяйку за чай.

В салоне Маньин ждет, когда все разойдутся. Тогда он говорит Ребману, чтобы тот заметил себе, что в России, когда говорят «покойной ночи» или «добрый день», всегда подают руку,

даже если люди друг с другом едва знакомы. Это называется поздороваться или попрощаться. Пренебрегать этим обычаем – неучтиво.

– Ну, спите покойно. У вас всего хватает? Пока вы еще не можете сами объясняться с прислугой, говорите мне, если что-нибудь понадобится, – я распоряжусь...

Глава 7

Утром сразу после чаю, который здесь, судя по всему, служил заодно и завтраком, – подали экипаж. Но на сей раз настоящий – тройку! Все вычищено до блеска. Сбоку монограмма. Резиновые колеса. Великолепные, отливающие блеском вороные, с хвостами почти до земли. Упряжь с серебром. Вправду, чудо-кони, особенно тот, что посередине, – с дикими огромными глазами, мерцающими тусклым, но теплым светом. А на козлах сверху – мужичок-коротышка. Когда он встает, ему приходится приподнимать полы пальто, чтоб не споткнуться, так оно ему длинно. Зато в обхвате мужичок – с огромную бочку. И шея чисто выбрита, жирна и красна. К поясу сзади он прикрепил часы, чтоб господа могли видеть, который час. Так вот он каков, настоящий «кучер Орлова»!

А Мадам-то! Разрази меня гром! Если бы она вчера появилась в таком облачении, Ребман уже не решился бы улыбаться ей во весь рот, нет, ни за что на свете! Теперь она никак не похожа на няню из Вильхингена, сразу видно, что перед вами миллионерша. Драгоценности так и сверкают. А воздух вокруг нее распространяет такой изысканный аромат, словно она только что, как джин в восточной сказке, выпорхнула из парфюмерного флакона.

Ребман надеялся, что его пригласят прокатиться до станции, тогда бы он на обратном пути мог почувствовать себя в роли настоящего барина. Но никто его не пригласил. Зато месье Эмиль – так здесь все называют Маньина – конечно же, едет. Он провожает господ до Киева.

И тот парень в русской рубаше, который встречал Ребмана, тоже отправляется, но в его повозке разместились только мешки и чемоданы.

Когда Пьер уже собирался садиться, он незаметно отвел Ребмана в сторону:

– Месье, пожалуйста, присматривайте за птичками. За котами присмотрит Татьяна Петровна.

И вот стоит наш гувернер в одиночестве и размышляет о том, с чего ему, новейшему Колумбу, начать свои открытия: с дальних или с ближних окрестностей? Пожалуй, что с ближних, дальних странствий с него довольно.

Он надевает новую фуражку, которой предусмотрительно обзавелся, чтоб придать своему виду некий «русский оттенок», и для начала обходит маршем вокруг усадьбы. Прикидывает с видом знатока: дом много больше, чем может показаться с первого взгляда. Не меньше четырнадцати комнат, все на первом этаже. К тому же еще флигели для прислуги – как раз напротив церкви. Затем он прошел вниз к тем домикам, что видны из его комнаты, и оказался в настоящей маленькой деревеньке, со всем, что деревеньке иметь положено: посередине, под черепичной крышей – колодец с деревянным воротом, а вокруг него – кузница, столярная, каретная, слесарная, седельная и все прочие виды мастерских будок. Совсем как в родной деревне, только поменьше, попримитивнее и без следа какой-либо механизации. И сельскохозяйственной техники тоже никакой, даже косилки не видно – и это в таком большом имении!

Вокруг стоят повозки, все грязные, и не больше той, в которой Ребмана доставили со станции. К чему машины, если ручной труд дешевле: ничто не ломается и на содержание никаких расходов!

Дома – а скорее хаты – все деревянные, вроде блочных, одноэтажные, покрытые жостью, соломой или черепицей. И на всех крышах полно мусора. К некоторым приставлены лестницы. Но нет ни одной похожей на те, что делают дома. Здесь на перекладыны идет необработанное дерево, а дома их мастерят из ровно вырезанных и аккуратно обструганных, прочно сбитых планок. И через каждые шесть-восемь ступенек вставлена поперечная планка, чтобы скрепить лестницу. А тут – только две тонкие палки, круглые, да еще и суковатые, а спереди и сзади, далеко друг от друга – прибиты поленья. Расстояние между ними – полшага, а то и целый

шаг. Зато здешняя лестница как нельзя лучше вписывается в общую картину – эдакая местная красавица...

Ребману еще только предстоит узнать, насколько «практично» устроено сельское хозяйство у русских. Это он откроет для себя позже, и еще скажет: «У нас сеют из мешочка, горсть за горстью, чтобы каждое семечко легло в грунт на свое место. А русский сеятель держит перед собою деревянное сито, которым он беспорядочно трясет, расточительно разбрасывая семена куда попало. Нам все хорошо в меру, а для русских ничто не слишком».

Из самого большого хлева слышны ржание и топот. Ребман с удовольствием пошел бы поглядеть, но ведь грязь такая, что не пройти и в галошах. Через открытые двери можно, однако, сосчитать поголовье лошадей. Тридцать одна. Вместе с теми пятью, что поехали на станцию, выходит как раз три дюжины. Коров же не больше, чем у нашего Хансйорга, самого бедного хозяина в Вильхингене.

Босая женщина с тугими икрами набирает у колодца воду, крутит деревянный вал, а тот скрипит и вопит так, что наверняка слышно в господском доме. Она наполняет два полных больших ведра, поддевает их на коромысло и бежит к деревянному корыту, что стоит перед конюшней. Да еще и поет при этом! Она вежлива, но не то чтобы расположена к болтовне.

– Здрасссть! – только и процедила она. У Ребмана возникло подозрение, что крестьянам запрещено заговаривать с барином-чужестранцем.

Он снова возвращается наверх к усадьбе, мимо церкви, но упирается в высокий дощатый забор. Попробовал подтянуться, но сверху все в колючей проволоке. Тут еще господин гувернер споткнулся о грабли, запутался в колючках на куче разбитых бутылок – здесь валялось множество осколков битого стекла. И вдруг его соколиный глаз обнаружил в заборе неплотно прилегающую доску. И ту, что рядом с ней шатается, тоже. Один толчок коленом – и перед ним открылись прекрасные ворота, вполне подходящие для человека его комплекции. Он прошел в образовавшийся проем и попал прямо в заросли старой крапивы, но зато сразу оказался в нужном месте. Вот она церковь. А там, на дне впадины, словно в корыте, лежит деревушка – такая маленькая, что, кажется, можно ее всю накрыть рукой.

Церковь деревянная, выкрашена белым. Судя по размерам и по тому, что она расположена совсем близко к господскому дому, ее, очевидно, построил прежний владелец имения. Если смотреть снаружи, у церкви пять куполов, но не золотые, а зеленые, в середине – большой, с греческим крестом наверху, а с каждой стороны – по меньшему, как он уже видел в Киеве. Колокольня стоит особняком, и на ней нет часов. И самое примечательное: возле портала – своего рода помост под деревянной крышей, в половину человеческого роста высотой. И на этом помосте, а не на колокольне, – пять колоколов, один за другим установлены в ряд – так, что не раскатать. Ни на одном из колоколов нет ни ручки, ни каната, ничего, кроме свисающей до полу веревки, привязанной к языку. Ребман нынче утром уже обратил внимание, что не было слышно трезвона к службе, не звонили и к молитве, не отбивали даже часов. Теперь загадка разгадана: часов нет вообще, а звонить нельзя. А как же тогда быть по воскресениям, на похоронах и свадьбах?

За церковью – кладбище. Так вот почему с той стороны парка – забор с колючей проволокой по верху да еще и с битым стеклом по низу!

В церковь зайти нельзя, она заперта. Ребман смотрит вниз на деревеньку, настоящее украинское село в низине, где все как на ладони, собрано в кучу, как будто сгребли лопатой хлам. Зимой село все в снегу, весной – в грязи, летом – в пыли: или утопает, или задыхается. О том, что деревни в России строят в низинах для защиты от страшных метелей, наш учитель тоже еще не ведает.

«Ну что, пойти? Всего несколько шагов, да и хозяева ведь в отъезде...»

Он сползает по склону вниз и смотрит, нет ли где улицы или хоть дорожки, но не видит ничего, кроме глубоких рвов, прорытых от канавы до дома и между хатами.

Когда он спустился к канаве и вышел к покосившейся серой избе, то увидел, что эта канава, собственно, и служит «улицей». Глубиной в два человеческих роста, пролегла она посреди деревеньки, пересекая ее всю. А по краям, слева и справа, жмутся друг к дружке, как гуляки, только что вставшие после восьмидневной попойки, с десятков «домов». Что бы сказал господин Майор, владелец «Рыцаря», самой роскошной гостиницы в Вильхингене, если бы увидел такое? Но он теперь уже ничего не скажет, ибо уже два года как в земле лежит.

Ребман взбирается по склону, перелазит через плетень, который тянется от хаты до хаты: на совсем заросшем травой дворе – стая кур, а в открытой помойной луже – кучка черных свиней. Совсем позади, у круглого, покрытого соломой стога сена, на трехногой табуретке – дедушка, в овечьем тулупе и меховой шапке, сидит и дремлет: голова клонится все ниже и ниже, а потом вдруг раз, и рывком вскидывается. Этот старик – здесь единственный взрослый, ему бы следить за мальчонкой, что крутится у его ног, да и за курами, и за свиньями – а он знай себе дремлет! Но на весеннем теплом солнышке, которого все так давно дожидались, старика совсем разморило.

Ребман открывает калитку и входит во двор. Машет малышу, чтобы тот не испугался. Но тот и не думает бояться – с чего бы это! – сосет себе указательный палец и улыбается во весь рот. Тогда Ребман подходит к нему и гладит по головке. Ребенок сидит на упавшем, наполовину затонувшем в грязи бревне, белобрысый, голубоглазый, почти голый, в одном платице, – как поросенок в луже. Таких и в Вильхингене немало. Когда мать вечером приходит с поля, бьет себя ладонью по лбу: при тебе бы стоять целый день со щеткой наготове!

Из хаты слышен стук кастрюль и прочей кухонной утвари. Другое дитя с кастрюлей в руке подходит к открытой двери: наверное, услышало возню во дворе. Завидев чужого барина, ставит кастрюлю на землю, подбегает к братишке и пониже натягивает платице, чтоб прикрыть покрасневший животик.

«Что же у меня есть с собой для детей?», – думает Ребман, и тут же вспоминает, что в ящике комода в его комнате сохранились две плитки шоколада, еще с дороги. «Их и принесу в следующий раз этим двум малышам, они наверняка нечасто видят сладости. Как же выглядит хата внутри?»

Он делает знак ребенку, и тот ведет его, как ни в чем не бывало, прямо в комнату, берет корзину, что стоит перед печкой, в которой сидят две наседки. Наверное, думает, что барин хочет на них поглядеть.

Ребман кивает и улыбается, давая понять ребенку, что ему эти две мамы очень нравятся. Затем он осматривается в помещении. Оно еще меньше тех, что встречаются у них высоко в горах на альпийском пастбище, и еще более убогое, несмотря на то, что здесь висит несколько картинок: царь, царица и цесаревич. А в углу напротив дверей – уже привычная икона с горящей перед нею лампадой. Печь занимает полдома, как уверял Штеттлер, и, похоже, в самом деле служит спальным местом для всей семьи. На ней – свернутая постель. Ан нет! Там наверху кто-то лежит – старуха, наверное, бабушка. Дети так к ней и обращаются. Но она им не отвечает, а только стонет.

Ребману даже сделалось как-то не по себе. Какая же тут бедность! А они еще и поют за работой!

Он гладит мальчика по головке, говорит, что придет в другой раз и принесет ему и братишке что-нибудь вкусное, шоколад из Швейцарии принесет. Кажется, ребенок его понял: *шоггеладе* ведь и по-русски звучит как «*шекалат*».

Ребман снова проходит мимо дедушки – тот все так же подремывает себе на солнышке. Через весь двор направляется к калитке, которая за ним сама закрывается: она вся покрыта плющом и возвращается на место под собственной тяжестью. Ребман соскальзывает вниз по склону и продвигается дальше. Смотрит, не увидит ли чего, что порадовало бы глаз и согрело сердце. Быть может, огород, или яблоня, или грушевое дерево, или куст бузины, или пара буке-

тов перед окном, или скамеечка, ну хоть что-нибудь напоминающее здание школы или сельской управы, почтовый ящик, фонтанчик, фонарный столб, вывеска перед трактиром, пожарная часть – да хоть бы какой-нибудь прохожий! Но он может высматривать сколько угодно, вокруг – ничего, кроме склона, дощатого забора, крапивы по пояс, покосившихся хат и той же канавы в человеческий рост, где в грязи можно утонуть, как в воде.

Вот она, эта «иная Россия», о которой говорил Штеттлер.

Ребман вынимает часы: половина двенадцатого!

Он почти бегом выбирается из деревни наверх, к церкви. И только когда он уже был наверху и вновь осмотрелся, увидел, что дорога все-таки есть, только с другой стороны села. Тогда он снова пролазит сквозь щель в заборе, возвращает доски на место, пучком прошлогодней травы вытирает туфли и прогулочным шагом через парк направляется к усадьбе.

Только он успел зайти к себе, как в дверь постучали:

– Барин, обед подали! – на этот раз он уже все понял.

За столом их теперь только трое. Но еда так же обильна и вкусна, как и накануне, только на первое – рыба, а Ребман ее еще больше не выносит, чем кислые сливки в супе. Мама тоже иногда готовила рыбу, вяленую треску, которую она привозила из города. Маленького Петера даже подташнивало от заполнявшего весь дом запаха гнили, когда мама эту рыбу распаковывала.

К счастью, он уже съел две тарелки супу и рыбный паштет в придачу.

Теперь можно спокойно дожить до чаю.

Татьяна Петровна делает большие глаза, когда он знаками дает понять, что уже сыт и больше ничего не хочет.

– Вы что же, не любите рыбу? – спрашивает Полковник и что-то говорит маленькой женщине. А та – другой, в белом колпачке. И уже через минуту – остальные даже еще не доели рыбу – перед Ребманом поставили тарелку с французским омлетом. Очевидно, Маньин или даже сама Мадам отдали распоряжения на случай, если...

Зато вторая смена блюд была весьма обильной: телячье жаркое, фазан, русские «шпэцле»¹⁰ – ленивые вареники со сметаной, только сладкие, молодой картофель и целая куча зелени: салат, огурцы, редька, спаржа. А на десерт – слоеные пирожные с кремом и свежими фруктами и кавказское вино.

После обеда Ребман спросил Полковника, что происходило прошлой ночью – он слышал какой-то непривычный стук.

– Стук? Что, изнутри дома?

– Нет, снаружи.

– Так это собаки. Они страдают ревматизмом: бедняги не переносят нашего климата, вот и воют всю ночь напролет.

– Нет, это были не собаки.

Тут бы он догадался. Нет, это было что-то, чего он еще никогда не слыхивал. Полковник наморщил лоб и погладил бороду:

– Что бы это могло быть? Неужто соловьи прилетели?

– Соловьи, у вас здесь есть соловьи?

– Конечно. И когда у них брачный период, они задают такие концерты, что и в самом деле не уснуть.

– Да, но я думал, что соловьи поют красиво.

– Ну да. А вам так не показалось?

Ребман качает головой:

– То, что я слышал, было что угодно, но не красивое пение, по крайней мере, на мой слух.

¹⁰ Домашние макаронные изделия из жидкого теста в Баварии и Швейцарии (прим. переводчика).

– Что же это может быть? Не сумеет ли господин гувернер изобразить, то есть воспроизвести те звуки?

– Это что-то вроде трещоток, деревянных дощечек, какие бывают у мальчишек: держишь между пальцами и колотишь ими друг о дружку.

– И это доносилось из моей комнаты?

– Нет, Боже упаси, снаружи, с другой стороны дома, с той, где церковь.

– А, ну вот, наконец-то! Это были перепелки, *paie tes dettes*, как мы их называем, за их стук: пэй-тедэтт, пэй-тедэтт! Да, перепелки. Я еще не слышал, чтобы какие-либо звуки с той стороны доносились сюда, да так, чтоб даже проснуться. Что, и вправду было так громко?

– Да-да. Но не так, как вы перед этим показали, а очень равномерно, как будто палочкой по дощечке стучат. И вдруг перестанут. Не думаю, что это была птица.

Полковник смеется:

– Да, но о-о-о-чень большая: это был сторож.

– Сторож?

– Да, наш ночной сторож.

– Но как он это делает и для чего?

– Ну, вы же знаете, что в старые времена и у вас в Швейцарии, и в Германии сторожа дули в рог или пели.

– Да, – обрадовался Ребман и даже запел: «Слушай, люд, уж девять бьет – каждый дом свой стережет! От огня, и от хищенья, и от черта посещенья! Богу нашему слава, Ему и честь, и держава. Аминь».

– Ну вот, а у нас вместо этого – грушевые дощечки. Их вешают на деревья в парке, при входе в хлев и амбар. Сторож снимает их каждый час, когда делает обход, вешает на свой шнурок и стучит по ним палочкой в определенном ритме. Это и есть наше: «Слушай, люд...» Но вы к этому привыкнете; через несколько дней стук уже перестанет вас будить. А теперь пора снова за работу!

– Могу я еще кое о чем спросить?

– Конечно. Вам что-нибудь нужно? Говорите, не стесняясь: мадам Орлова поручила мне за вами ухаживать, пока она не вернется.

Ребман поклонился точно так же, как, он заметил, это делал сам полковник, в этом смысле он был способным учеником.

Нет, он ни в чем не нуждается; но действительно ли ему запрещено ходить в деревню?

Полковник отвечал вежливо, по-французски, но вполне определенно:

– Есть вещи, господин Ребман, которые у нас не приняты. Это одна из них. Не то чтобы мы крестьян не считали за людей, но тем, кто живет в этом доме, это просто не пристало. Понимаете, что имеется в виду?

Ребман встает и снова кланяется, он просит у господина полковника прощения за то, что позволил себе задать такой вопрос, он не знал об этом правиле. И бесконечно, сказал он тоже по-французски, благодарен за разъяснение. Последнюю фразу он позаимствовал в «Швейцарском Доме» в Киеве, и она показалась ему полезней всего того, что он выучил на множестве уроков французского в школе и семинарии.

Месье Эмиль появился только в четверг к обеду. Он воспользовался случаем посетить театр и синаматограф. И, конечно, не обошел стороной «Швейцарский Дом». Все тамошние обитатели велели Ребману кланяться:

– Вы здесь не скучали?

Ребман осклабился: ему кажется немного странным, когда не позволяют ни с кем словом перемолвиться и выходить из усадьбы на променады тоже возбраняется.

– Ходить пешком? Это в России можно, даже дальше, чем дома. У нас здесь путешествуют на Кавказ или в Крым, или совершают трех- или четырехнедельное паломничество в Киев, Москву, Казань. А если это недалеко, то садятся в повозку или на коня. Вы умеете ездить верхом?

– Да, только на деревянной лошадке-качалке.

– Что ж, научитесь. Как раз теперь у вас и время есть. Я скажу конюшему, чтоб он подготовил для вас лошадь. Разумеется, покладистого скакуна, не такого, что вас сразу галопом в Сибирь умчит. И еще покажу вам поместье. Вы не включали граммофон?

– Я не решился, – ответил Ребман.

– Не решился! От этого отвыкайте: вы теперь – член семейства. И если все пойдет как мы того желаем, то это так и останется. До конца ваших дней... А что до граммофона, то я вам за обедом быстренько покажу, как его заводить, это дело нехитрое.

– Это вовсе не нужно, – говорит Ребман.

У него дома был похожий аппарат.

– Так отчего ж тогда не заводили? В России нельзя быть застенчивым, скромникам здесь живется плохо. Ну а в остальном – с вами хорошо обращались?

– О, у меня здесь только и дела, что рот пошире открывать! А вот рыбу не ем, ею меня можно из дому выжить.

– Не едите рыбы? Вам следует непременно приучить себя к ней, – говорит Маньин. – То, что здесь подают на стол, – это не какая-нибудь вонючая вяленая треска или нечто подобное, – я такого и сам не ем. Здесь у нас подают или только что выловленную в Тетереве, или уж прямо из Волги.

Такой рыбы, как у нас тут, нет нигде в мире. Но в этом вы еще убедитесь и сами.

Сразу же после обеда к крыльцу подъехал «бернский экипаж». Маньин сам за кучера. Он в костюме для верховой езды и в желтых перчатках. Он чертовски хорош собой. И лет ему всего двадцать пять, как Ребман узнал позже. Слуга провожает их только до ворот. Дальше они едут одни, сразу пуская лошадей в галоп – кажется, здесь иначе никто и не ездит. Привычные к этому лошади даже не ждут, пока пассажиры толком усядутся – как только учуют, что кто-то сел в коляску, тут же рвутся с места в карьер.

– А что если вдруг пожар? – спрашивает Ребман, – что делать тогда?

– Ждать, пока сгорит. Что же можно сделать без воды? Поэтому все дома одноэтажные. Наш уже два раза сгорал дотла. – Он усмехается. – Но тем лучше для хозяев. Каждый раз после пожара дом становится больше и красивей. А страховка все покрывает.

– А как быть крестьянам, если пожар у них?

– О, это было бы для них не просто везением, а настоящим счастьем. Тогда сгорело бы заодно и все старье, весь этот хлам. Но, к сожалению, у них никогда не горит.

Они едут молча. Немного погодя Ребман заметил:

– Вы так хорошо владеете бернским диалектом, а сами при этом вализец.

– Моя мать была все же из Берна. И в школу я ходил тоже в Берне.

– «Была» сказали вы о матери?

– Да, она уже умерла.

– От чего?

– От того же, что и ваша. Так что мы оба знаем, каково это – остаться без матери. И могу вам сказать, что мадам Орлова добра ко всем сиротам. Но только не к таким, как Штеттлер, нет. Нам хорошо известно, что этот господинчик там в Доме о нас болтает.

– И почему же вы ему это позволяете?

– А пусть его врет, если ему это доставляет удовольствие! Когда-нибудь все же придется прикусить язык!

Он меняет тему:

– Жаль, что мы больше не ездим в имение на Черном море. Раньше мы каждый год ездили туда в трудную пору, когда в здешних краях все никак не наступит весна. Господи, как же было хорошо в Батуме! Цветы, апельсины, на улице сидишь в одной рубахе, а здесь еще снег и заморозки. А уж море! Прекрасное было время!

– А почему же теперь нельзя ехать?

– Мадам не хочет. Водноголовый там покончил с собой.

– Водноголовый?

– Ее старший сын. У него была в-о-о-т такая голова! Как тыква. И опасный был. Носил с собою в сумке револьвер. Мы никогда не знали, когда он сорвется – он завидовал Пьеро. В конце концов нам пришлось его запереть. Василий, казак, его сторожил и кормил. В один прекрасный день он сделал вот так – Маньин прошелся указательным пальцем по шее и вверх. – Да-да, в семье Орловых много чего случалось. Если вы думаете, что Мадам счастлива, богата, независима, не знает ни горя, ни забот, то вы ошибаетесь. Вы видели в салоне портрет девочки? Это единственная дочь Орловой. Умерла в Лейзэне¹¹.

Он поднимает палец:

– Но вы ничего этого не слышали! Старик...

– Он тоже умер?

– И слава Богу! Вот уж был пьяница! Пропил пол-имения. И наконец помер. От запоя.

– Это правда, что людям здесь совсем мало платят? – спросил Ребман, воспользовавшись доверительным тоном беседы.

– Отчего же мало? Мы им платим столько, сколько они стоят и сколько зарабатывают. А им много и не требуется. Русский охотнее всего ничего не делает. Если их оставить без надзора, все промотают. Попади им в руки хоть копейка, тут же пропьют, иначе нет им покоя. Поэтому в отдельных случаях мы платим мукой или иной какой провизией. А не то их семьи поумирали бы с голоду. Или вам какой-нибудь революционер порассказал чего-нибудь другого?

– Какой еще революционер?

– Да ваш предшественник, Штеттлер.

– Он что, революционер?

– Да, но только на словах. Он только и может, что браниться. А вот поработать – о-ля-ля!

Они проехали через лесок, и тут показалась речка Тетерев. Ребман впервые так близко видит русскую реку, хоть она и мала, не больше Зилия или Тура, и все же это русская речка. Недалеко, чуть повыше, на деревянной плотине стоит полуразрушенная мельница. Но это не первое, на что Ребман обратил внимание. Сначала его поразил цвет воды: коричневый, как жидкий навоз. И внизу на запруде – желтая пена, словно бочка с навозом начинает переливаться через край. И на самой реке, чье немоющее течение напоминает движение парализованной собаки, плавает та же подсвеченная солнцем желтая пена.

– Вас удивляет цвет воды? – спрашивает Маньин. – У меня было такое же чувство, когда я впервые увидел Тетерев. Но таковы все русские реки – даже Днепр и Волга.

– И вы едите рыбу из этого навозного потока?

– Конечно. Здесь даже стирают белье. Видите, в-о-о-н там?

Ребман смотрит туда, куда указывает кнут Маньина, и видит группку женщин, которые стоят в воде с подобранными юбками: белье плещется, и они топчут его ногами, стоя на мостках.

– Вы думали, что это навоз? Нет, вода здесь так же чиста, как и в любой швейцарской речке.

– Откуда же этот цвет?

– От почвы, которую несет с собою река. Смотрите!

¹¹ Leysin – легочный курорт в Швейцарии (прим. переводчика).

Он спешивается, подходит к воде и зачерпывает полную ладонь. И Ребман теперь различает взвесь мелкого коричневого песка. Когда вся вода стекла, песок остался на ладонях у Маньина.

– Понюхайте! Разве это дурно пахнет?

– Ни капельки. Здесь и купаться можно.

– Что мы и делаем. Вон за теми кустами – наша купальня. А ниже по реке – еще и лодка, из нее можно даже и поохотиться, если пожелаете.

– На крокодила или на кита?

– Погодите, вас еще ждут сюрпризы!

Тут они вошли в настоящий лес. Собственно, это скорее луг, на котором стоят лесные деревья. Земля очень сухая и уже зеленая, тропинка, как из бархата. Кое-где уже видны цветочки и даже луговой первоцвет, которого полно дома на Бюльвеге, где деревья стоят так же далеко друг от друга, с зарослями ежевики и папоротника между ними. Однако здесь нет ни единой елки или сосны, только березы, на которых уже показались весенние сережки. Как невесты, стоят они в белых платьях, даже сердце начинает подпрыгивать в груди. И птиц вокруг – целое множество, не так, как дома – там они только кое-где попадают.

– Русские – большие любители птиц, – утверждает Маньин.

– Для чего здесь столько берез? – спрашивает Ребман.

– На дрова, на растопку. Ими мы заполняем дюжину наших печей и духовку с плитой – на кухне и в прачечной. Береза горит даже сырой, ее не нужно сушить. У нас есть и елки, и ясени, чуть подальше в лесу. И дубов здесь более чем достаточно. Но лесом мы не торгуем. Крестьяне, но только наши, могут брать сколько им нужно, им это ничего не стоит. С условием, что нарубят дров и на нашу долю.

Они снова медленно едут по мягкой лесной дороге. Не слышно ничего, кроме лошадиного топота, стука подков да пения птиц. Иногда они едут по выступающим корням или через канавку, тогда колеса громяхают на щебенке, камешки со стуком отскакивают от резиновых покрышек.

И тут Маньин встрепенулся:

– Это еще что такое?

Он показывает на мужика, который идет им навстречу. Видимо, кто-то из деревенских: шапка из овчины, тулуп, русские сапоги, борода. Когда он подошел ближе, Ребман разглядел у него пейсы. Это не мужик вовсе, а еврей. У него под мышкой – связка драгоценных сучьев.

Маньин останавливается. Соскакивает с повозки. Что-то громко орет по-русски, чего Ребман не может разобрать, но судя по тону – вряд ли что-то хорошее. Еврей выронил сучья и весь дрожит: очевидно, это уже не первое его столкновение с Маньином. Внезапно он поворачивается к Ребману, который тоже спешился.

– *Барин ис а гиштер хэр* — причитает «мужик» на идише, – барин ведь добрый господин, – и целует ему руку.

Маньин кричит:

– Гоните его прочь, он вас еще вшами наградит! Да ударьте же его, наконец!

Еврей упал перед Ребманом на колени, обхватив обеими руками его ноги:

– Барин не спросит, хороший я жид или поганый жид, барин ведь поможет! *Барин вэрд хэльфм!*

«Он меня принял за Штеттлера», – пронеслось у Ребмана в голове.

Но тут Маньин уже с кнутом набросился на несчастного. Тот оставил Ребмана и побежал в ту сторону, откуда пришел.

Они снова усаживаются в бричку и едут дальше.

– А что вы собственно делаете в этом поместье? – спрашивает Ребман немного погодя.

– Что делаю? Вы имеете в виду, чем мы занимаемся?

– Нет, что вы выращиваете. У нас об этом говорят: «что делаете». Например: «мы возделываем коноплю, лен, фрукты» и так далее...

– А мы тоже, по-вашему, «возделываем» коноплю и лен, но больше – зерновые. Этим мы и живем, ведь Украина – житница всей России, вам следует об этом знать. И как раз поэтому я против жидов, вообще всех, не только того простофили в лесу. Вы удивились, что я на него так набросился – немного не по-швейцарски, не так ли? Но на то есть веские причины. Видите ли, в их руках вся торговля зерном, и так повсюду – до самой Сибири. Это они диктуют цены. Они получают барыши. То, что нам остается, – пустяк, чаевые. Мы от них совершенно не защищены. Я вам как-нибудь расскажу всю историю, и вы меня тогда лучше поймете. Сначала я тоже не был таким нетерпимым, но когда столкнешься с ними нос к носу, случаются просто неопишуемые вещи.

– А господин полковник? У него какая должность? Кто он вообще такой?

– Полковник? Бедный дальний родственник семьи Орловых, так же, как и Татьяна Петровна. Когда он совсем разорился и был на грани, старый хозяин взял его к себе в имение – пенсийки, что он получает, едва хватает на табак. У нас он ведет всю бухгалтерию, он ведь был штабным офицером. Благородная душа, ему можно во всем доверять. Поэтому его все и любят. Пьер, тот к нему, как к отцу, привязан.

Он достает часы, красивые, золотые, с откидной крышкой.

– Ну, теперь нам придется поторопиться, Татьяна Петровна ждет нас к чаю. Она за вами хорошо присматривала? Эта женщина ко всем людям относится по-матерински. Такое бывает только в России.

Сегодня Ребман впервые вышел во двор вечером.

Ну и тишина!

Но не так, как на Шафхаузенщине, где уже предчувствуешь конец дня и знаешь, что ты дома, – эта тишина чужая, жуткая... Не слышно колокола – ни бьющего, ни звонящего. Ни стука молотка. Ни скрипа телеги. Ни шагов или голосов прохожих. Ни огонька вокруг.

Дома, бывало, выйдешь вечером на прогулку вверх по Бюльвегу, так тебе весь мир как родной, знаешь точно: вон там Халау. А вот внизу – Остерфинген. А там альпийский паром, Рейн и Швиц. А с этой стороны, за горой – Баденские земли.

Здесь же даже и не поймешь, есть ли кто вокруг, кроме нескольких обитателей господского дома.

Он смотрит на звездное небо. Это он всегда любил: заглядывать «в мир иной» и представлять себе, что же там есть на самом деле.

Те же ли это звезды, что дома? То же ли это небо? Или оно у них, у русских, особое, как и вера их, и душа?

И где ж она – родина, Швейцария? Неужели никто и не вспомнит там о нем?

Ребман стоит и смотрит, водит рукой: должно быть, она где-то там, в той стороне:

– Доброй ночи, *Швитцерлэндли*!¹²

Это он произнес уже вслух, громко. Но никто ему не ответил...

Он вернулся к себе. Сел за стол – горничная уже зажгла керосиновую лампу – подпер голову руками и задумался.

Любопытно, чем они там, дома, заняты? Что подделывают? Вот бы перенестись туда и хоть словечком с кем-нибудь перемолвиться!

¹² Schwitterländli – уменьшительно-ласкательная форма от Швейцарии (прим. переводчика).

Глава 8

Наконец и к царству батюшки-царя незаметно подкралась весна. В одну ночь наступила она, Ребман никак не ожидал такого в «глухой и мрачной» России. Просто как в сказке: рябина под окном в цвету, соловьи, лес. Куда ни глянь – цветущая белизна. И внутри – ликование, словно ты влюбился, сам того не желая. Ничего иного и не хочется, как только вспорхнуть и лететь, лететь все выше и выше...

Воскресным утром, по давней привычке, Ребман отправляется в церковь. Сначала, правда, спросил позволения: что если и это из разряда тех вещей, *qui ne sont font pas*.¹³

– Конечно же, можно, – говорит Маньин, – это никому не воспрещается.

– И когда пойдем?

– Когда хотите. Утром, до обеда. Или в обед.

– Да? И можно просто так входить, когда вздумается?

– Ясное дело. Богослужение длится не более получаса, а потом начинается сначала, и люди могут приходить и уходить, когда им удобно. В городах церкви всегда открыты, во все дни недели, в любое время можно зайти помолиться, даже когда нет богослужения.

– И иностранцы могут входить в храм?

– Разумеется! Церковь открыта для всех.

Вот Ребман и пошел.

Но и здесь все показалось ему чужим, даже более чуждым, чем все то, что он до сих пор видел, слышал и обонял. Один кадильный дым чего стоит!

Да и сама церковь: совершенно пустая, так что и присесть не на что. Ни кафедры, ни купели. Ни даже того, чего он искал в первую очередь, – органа. Святые с суровыми закопченными лицами из глубины своих золотых и серебряных окладов взирают на кучку мужчин и женщин, стоящих перед ними в воскресных одеждах или преклоняющих колени. Когда кто-то входит, то сперва идет к стоящему в уголке столу, покупает свечи, зажигает их перед алтарем или перед одним из святых и ставит рядом с уже горящими. Потом все стоят, слушают, что говорит или поет поп – собственно, все поется, – время от времени крестятся и низко кланяются. Кое-кто, входя, падает на колени и преклоняет голову до земли, три или четыре раза подряд, да так смиренно, что можно подумать, будто это бьет поклоны самый великий в мире грешник.

Со двора слышен звон, он слышен отовсюду. Ребман еще ранним утром побежал смотреть: это старый мужик, крестьянин с растрепанной головой и в грубых сапожищах, стоит и громко-громко бьет сразу во все пять колоколов. Руками и ногами тянет за веревки, на которых подвешены колокола: били-били-били-били-бим-бим-бим, били-били-били-били-бим, бом-бом-бом – словно крышками от молочных бидонов бьют, как в медные тарелки.

Народ в церкви не поет, поет только поп, который стоит впереди у алтаря, а потом исчезает за стеной с ликами святых, и хор – но какой! Если бы Ребман не слышал своими ушами, он бы ни за что не поверил, что в каком-то убогом селе на краю света такое возможно. Бас – силища, кажется, вот-вот стены рухнут; а певчих-то всего ничего, семь или восемь мужчин и вместо женщин – мальчишки. Снова пианиссимо, словно ангелы поют на небесах. Музыка совершенно незнакомая, совсем другая, нежели та, к которой он привык, – неслыханная доселе музыка.

Попа в его богатом убранстве вовсе не поймешь, не разобрать ни слова. Кажется, он и поет, и говорит все одно и то же монотонное «*Hoss-po-di pa-mii-luj*» тридцать-сорок раз подряд,

¹³ Не положено (франц.)

а потом еще полчаса «*A-lli-lu-jaa*». Тяжко стало от всего этого на душе, вместо облегчения – на сердце камень.

После обеда Ребман вышел в поле. В усадьбе все решили прилечь, но ведь он не может спать среди бела дня. Право слово, вокруг столько нового! Он должен увидеть, что делают крестьяне воскресным днем здесь, в России, особенно молодежь. И в самом деле, чем они заняты?

Он пролазит через щель в изгороди. Смотрит сверху вниз на село: никого. Ни души.

Где ж они? Пойду-ка гляну с другой стороны.

Снова протискивается сквозь изгородь. Минует дом – полная тишина, словно все вымерло. Перемахнул через забор. Пыльная тропа ведет дальше, мимо поленниц, там, где он уже проезжал с Маньином. На деревьях заметны завязи плодов. Свежий ветерок пробегает по ним и колыхает. Видно, как им это нравится, как каждый бархатно-зеленый стебелек дрожит от радости.

В лесу все как вчера: пение птиц, шорох деревьев, сладость цветения – как обычно. И все же не так, как вчера. Нет, вчера был будний день, а сегодня воскресенье. И это чувствуется, видится в каждом дереве, в каждом цветке, каждом стебельке: все убрано по-воскресному, все сияет праздничным светом.

А люди, где они? Молодые-то уж точно не спят после обеда!

Ребман поворачивает, поднимается по дороге вверх к лестнице. И тут вдруг он услышал внизу у реки голоса и гармонь! Сбегает вниз. Там, на мостках, где давеча женщины стирали, собралась вся молодежь Барановичей: прямо на настиле танцуют, всей честной компанией. Невозможно поверить, что это те самые, которые босиком утаптывали мусор, рубили дрова или кормили лошадей! Если б он не знал наверняка, что это именно они, ни за что бы не поверил. Теперь это совсем иной народ: юноши в светлых вышитых сорочках, черных шароварах и блестящих юфтяных сапогах, девушки в поневах, да таких, что от многоцветья в глазах рябит – словно их подменили. И как же они танцуют! Ребман, правда, тоже не лыком шит. Но даже тогда, когда он в городе на Рейне учился на танцевальных курсах, а потом в Рандентале поддерживал форму на свадьбах и прочих гулянках, против этих он, несомненно, был просто увальнем.

Тут ему припомнилось, как шафхаузенский фабрикант ему рассказывал, что лучше всего можно узнать характер русских людей, наблюдая, как они пляшут.

– С ума сойти можно, – восклицал господин Мозер, – наш брат швейцарец рядом с ними – клоун на ходулях!

Ребману не очень-то верилось. «Вряд ли с этим делом у них все иначе, чем у нас, – думал он. – Танец он ведь и есть танец, хоть тут, хоть там».

Теперь он видит, что зря сомневался. Эти девчата и парубки двигаются не просто в заученном ритме, они свою жизнь танцуют: все тепло, вся страсть и необузданность, вся тоска и тяжесть русской жизни – все в этом танце.

Они, конечно, и понятия не имеют, что за ними кто-то наблюдает, и Ребман тихо сидит в своем укрытии: иди знай, вдруг кому-то взбредет в голову его пригласить. Тут уж позора не оберешься!

Уже и вечереть стало, а они знай себе танцуют. Между танцами песни поют. Потом – снова танец, каждый раз другой: то одни девушки, а то – парни, то парами, но больше все вместе. Даже не верится: все-то они могут, и это при том, что вряд ли кто из них взял хоть один урок танцев.

Когда Ребман вернулся в усадьбу, время чая уже давно прошло. Его вдруг посетило чувство, что Россия, ворвавшаяся в его сердце, успела проникнуть в его душу – уютно устроилась там и прикорнула.

Глава 9

На следующее утро пришла телеграмма из Пятигорска, что на Кавказе: месье Эмиль должен срочно приехать, так как на курорт уже прибыли отдыхающие.

Маньин надулся:

– Вот так у нас все время, ни минуты покоя!

Однако в тот же день отправился в Пятигорск.

И вот Ребман снова остался один, вернее, в обществе Полковника и Татьяны Петровны, на сей раз на целые четыре недели. Но он уже не задумывался о том, чем бы ему заняться, ведь мир вокруг такой новый и замечательный. И Ребман с головой окунулся в новую жизнь. На рассвете он вскакивает, разбуженный то флейтовым свистом скворца, то дерзким стрекотом сороки, то хриплым «кукареку» молодого петуха. Он одевается. Спускается к хлеву и сараям. Осматривается: вот коней чистят и кормят, потом ведут на водопой. Ребмана никто не замечает. Воспользовавшись этим, он сбегает следом за конюхами к Тетереву, а потом бегом же поднимается обратно. За время его отсутствия Пантелей и его помощник Григорий уже успели до блеска вычистить и подмести конюшню и равномерно посыпать пол соломой.

Эти деревенские парни уже не так дичатся его, как кучер в красной рубаше тогда на станции. Теперь они говорят с «месье» так, словно знают его целый год, словно он уже здесь давно и никто больше не запрещает им с ним общаться. Они еще немного стесняются, потому что не понимают его речи. Но лед все же тронулся. Ребман учит русский язык не за страх, а за совесть: ведь если знаешь язык народа, то узнаешь и его душу, как говаривал учитель французского в семинарии. И, вспомнив об этом, он каждую ночь до одиннадцати-двенадцати часов сидит за своим новым учебником, который дал ему Маньин. Там имеется все нужное для дела и важное теперь: «конь», «седло», «поводья», «ездить верхом» – все, что связано с хозяйством в поместье. Здесь ученье идет легче, чем в Рандентале, где он мучился над каждым словом и никак не мог поверить, что где-то существуют живые люди, которые так говорят. Теперь этот язык для него ожил, он манит и завораживает его, не дает покоя. И произношение дается намного легче, когда речь звучит повсюду изо дня в день. А если что-то непонятно, то можно записать и потом спросить у Полковника, который все разъяснит: как и где это употребляется. Он ничего не говорит по поводу того, что Ребман общается с прислугой, наоборот, кажется, ему это нравится. Очевидно, тут просто не любят, когда кто-то из домашних спускается в деревню. И с Татьяной Петровной он тоже разговаривает, когда представляется такая возможность. Она возится с иностранцем, словно с малым дитятей: произносит слово за словом и показывает пальцем: вот там столовая – «ста-ло-ва-я», а дальше – гостиная, «га-сти-на-я», там, где спят, «спаль-на-я», а где готовят – «ку-хня». *Tisch* — стол, *Stuhl* — стул, *Uhr* — часы; *Bild* — картина. Там за окном снаружи – сад, *Garten*. *Der Baum* — «де-ре-ва», *er* — он, «му-щи-на», *sie* — она, «жен-щи-на», *Frau*. *Er* «ма-ла-дой» – *jung*; *sie* «ста-руш-ка» – *alte Frau*. И таким манером он каждый день выучивает с ее помощью множество слов безо всякого труда, гораздо быстрее, чем по книге.

Дни его проходят размеренно: ровно в восемь он выходит к завтраку – в большой столовой все уже готово, даже кофей подали. Затем он отправляется в поле посмотреть, как идут работы. За этим он может наблюдать часами, иной раз и подсобит – ведь это дело ему совсем не чуждо.

Его появление в поле привлекает всеобщее внимание: нездешний барин в белом кепи в сопровождении двух бернардинцев, не отходящих от него ни на шаг. И сельская молодежь радуется этому «месье» и даже шутит с ним по-свойски.

А дома, в своей комнате, он все подробно записывает в дневник – чисто, без помарок, страницу за страницей, помечая даты, как будто по долгу службу докладывал барыне обо всем, что случилось за время ее отлучки.

Однажды, когда они снова поехали к реке, конюх возьми да и скажи, мол, месье должен наконец и сам оседлать коня, не по чину ему бежать следом. Сибиряк уж точно ему подойдет, хорошо объезжен и кроток, как ягненок. Ребману пришлось отвечать скорее жестами: до того, чтобы говорить по-настоящему, ему еще ох как далеко! Он никогда еще не пробовал ездить верхом и даже не садился на лошадь.

Что ж, отвечал конюх, придется научиться, раз уж представилась такая возможность. Это ведь совсем не трудно, самое главное – удержаться в седле. И он без лишних слов снимает со стены сбрую, седлает Сибиряка и подводит его к месье.

Взять повод в руки и сесть в седло он сумел: уже довольно насмотрелся, как это делается. А чтоб не свалиться, нужно глубоко, до каблука, вставить ноги в стремяна, тогда можно не тревожиться.

Конюх, правда, другого мнения, говорит, что это опасно: этак можно оказаться в капкане. Он хочет правильно поставить барину ноги; но Ребман дает ему понять, что так он чувствует себя увереннее.

Они выезжают все вместе, конечно, остальные тоже сели в седло, даже главный конюх, который теперь совсем не кажется таким толстым, как тогда, когда он разряженный сидел на облучке в парадной роли «кучера Орлова». Выбравшись за ограду, они едут вдоль леса, а затем спускаются к Тетереву. И дальше движутся вдоль реки. Ребман может сколько угодно фыркать, натягивая поводья, его Сибиряк не обращает на это ни малейшего внимания: следуя за остальными лошадьми, заходит в самую воду – к счастью, в этом месте совсем не глубоко. Ребман знает это по опыту, он ведь каждый день после обеда ходит купаться. Здесь не глубже, чем в корыте для стирки белья.

Когда прогулка закончилась, они поскакали галопом домой, но еще не знакомой Ребману дорогой. Они скачут вдоль густых зарослей камыша – здесь не так пыльно, и лошади не так пачкаются. Так сказал конюх, он всю дорогу держится рядом с Ребманом, потому что убедился: тот действительно не умеет ездить верхом. Не успели они приблизиться к зарослям камыша, как нашего швейцарца словно какая-то муха укусила: погодите, я вам сейчас покажу! Ногами обхватил брюхо Сибиряка, подался вперед, хлещет поводьями: давай, гони-и-и! В мгновение ока «кроткий, как ягненок» жеребец, которого всегда приходилось ждать, к всеобщему изумлению понесся вперед, словно пуля из ружья. Никто не успел опомниться, как они оказались далеко впереди, в самой гуще камыша. Новоиспеченный наездник даже удивился, как все гладко выходит, словно погоняешь и летишь, не сходя с дивана. На радостях он даже начал кричать во все горло.

Но тут удача отвернулась от месье гувернера. Впереди был лес. И он очень быстро, тоже галопом, приближался к Ребману и его Сибиряку. Прямо на них уже со всех сторон несутся деревья: березы, ясени, огненно-красные сосны. За их суетливой толпой маячит крупный силуэт дуба-великана. Он вырос прямо на пути у Сибиряка – уже не свернешь. Жеребец делает стремительное зигзагообразное движение в сторону, и Ребман на всем скаку всей тяжестью тела влетает в дуб. Всадник отделался на удивление легко: ушибом колена и левого локтя да парой ссадин на лице, а так-то он цел – после пришлось только несколько дней просидеть дома. До свадьбы заживет.

К тому же весьма кстати зарядил дождь, проливной русский дождь – из дому не выйти. К тому же, он давно собирался написать письмо домой. Вот теперь-то он его и напишет! Напишет со свойственным ему воодушевлением и врожденной восторженностью, напишет обо всем, что он пережил с того самого утра, когда судьбоносное письмо доктора Ноя приземлилось в его почтовом ящике в Рандентале. Опишет свое путешествие, студентку, которая помогла ему на

границе. Поведает о разговоре с фабрикантом, и о том, что Россия действительно такая, как тот ему описывал, и совсем иная, чем он воображал дома: намного красивее и лучше. О приеме в Киеве и в имении. Напишет о людях, с которыми успел познакомиться. Отдельно расскажет о молодежи из Барановичей: как они поют за работой и как танцуют по воскресеньям. Кое-кого он даже нарисует: краснорубашечника на телеге с его взъерошенной головой, звонаря, воскресным утром бьющего во все пять колоколов, необъятного, как винная бочка «кучера Орлова», восседающего на козлах с часами на спине, чтобы господа могли видеть, который теперь час. Он пишет как всегда – с искрометным юмором, и выходит еще одно из тех сочинений, о которых их профессор литературы говорил, что их хоть под стекло и в рамку.

Он пишет целый день. И завтрашний. И послезавтрашний. Всю тетрадь исписал. И когда он перечел, убедившись, что все хорошо изложено, он запаковал тетрадь и надписал адрес: «Доктору Ною». В приписке содержался вопрос, не покажутся ли его записки интересными местным обывателям, не стоит ли предложить их редакции региональной газеты?

В один из дней этого вынужденного домашнего ареста из комнаты, что располагалась прямо над ним, послышался стук, похожий на тот, что Ребман уже слышал в зале контроля в Волочискe. И, любопытствуя, что бы это могло быть, он поднялся наверх:

– Простите за беспокойство в такой час! Но могу ли я узнать, чем это занят господин полковник? Я уже слышал подобный стук, когда проходил паспортный и таможенный контроль на границе, и все еще недоумеваю, что же это было.

– Вы мне вовсе не мешаете, напротив, я даже рад, что могу отложить на минутку эту скучную работу. Заходите, не стесняйтесь! – говорит Полковник как всегда приветливо. Он предлагает Ребману стул и одну из своих тонких сигарет, аромат которых так приятно распространяется по всему дому. Дает огоньку и сам закуривает.

– Ну, – говорит он после двух-трех затяжек, – вот эта штука, которая издает знакомый вам звук. Он указывает на маленькие счеты, стоящие под углом поперек кучи бумаг на столе, чтобы удобнее было на них «играть». – Это русские счеты. Ими пользуются в конторах, банках и магазинах по всей России. К тому же они еще способствуют продлению жизни. Нет, шутки в сторону, смотрите сюда!

Он раскрыл папку бумаг, исписанных длинными рядами цифр:

– Видите ли, я как раз подвожу баланс за прошлый год: здесь в поместье я за бухгалтера, раньше был штабным офицером в армии. Смотрите-ка: перед тем как вы постучали, я дошел до того места, где лежит линейка, то есть до середины листа. Меня прервали, и я был бы вынужден либо спешно закончить, либо после снова начать сначала. А со счетами этого можно избежать. Здесь выставлена сумма с точностью до копейки. Теперь я могу просто продолжать считать. Видите преимущество?

Ребман кивает.

– Смотрите, как практично! Мы не во всем отстали, у нас есть весьма предприимчивые люди. Обратите внимание еще на одно обстоятельство: в таком хозяйстве, как у нас, всегда кто-то отвлекает – то Мадам или месье Эмиль, то приказчик, то зеленщик или кто-то из прислуги. В таких случаях мне не нужно заставлять людей ждать, пока я все сосчитаю. Я могу просто оставить линейку на том месте, где я кончил, и, когда посетитель уйдет, продолжать как ни в чем не бывало.

Но самое главное достоинство этой вещи состоит в том, что не нужно напрягаться, а это для людей, которые из года в год ничем другим, кроме счета не заняты, – огромное облегчение. Шестизначные числа можно складывать безо всяких усилий. И даже умножать можно: шестнадцатью сто сорок на четыре, – он щелкает шариками счет, – выходит две тысячи триста четыре. Вот здесь результат – за две секунды и безо всякого напряжения. И самое главное преимущество: эти счеты не ошибаются. Я могу целыми днями составлять длиннейшие ряды

чисел и ни за что не собоюсь, хотя я не особенно хорошо считаю в уме. Вот, взгляните еще разок, как все работает.

Он откладывает сигарету, берет левой рукой линейку, правой начинает так быстро перебирать пальцами, словно виртуоз играет на фортепианах, и при этом тихо вслух повторяет числа. Линейка рывками ползет вниз, и, когда она уже совсем опускается, Полковник подводит черту, и под ней карандашом записывает результат:

– Вот и еще одна страница. Если бы мне приходилось удерживать все это в голове, я бы давно уже сошел в могилу. Ну как, удовлетворил ли я ваше любопытство?

Глава 10

Но тут корабль изменил курс: Мадам воротилась, и первый ее вопрос к Ребману был о том, чем же он занимался все эти пять недель. Ребман рассказывает, не забыв упомянуть о своем письме доктору Ною. Именно это ее, кажется, и заинтересовало. Пока он рассказывал о своих вылазках, дневнике и тому подобном, она только улыбалась каким-то своим мыслям. А вот когда Ребман заговорил о письме, наострила уши.

– И что же, – говорит она, – вы имели успех?

– Нет, шеф мне все прислал обратно и советовал подождать еще лет двадцать, возможно, тогда тема России и будет актуальна.

– И кто же этот «шеф», которому вы посылали свои заметки?

– Мой бывший преподаватель, директор семинарии. Я думал, что так их скорее опубликуют.

Мадам снова улыбается:

– То, что вы написали, – просто недостаточно интересно. Вам следовало сообщить о чем-нибудь таком, к чему весь мир прислушался бы, затаив дыхание. Вы уже слышали о киевском процессе по поводу ритуального убийства?

Ребман пожимает плечами, об этом он ничего не знает.

Они сидят у Мадам, в ее красивой просторной комнате, и Ребман все время поглядывает вверх на картину, что висит над письменным столом из дерева махагони.

– Это царь Иван в приступе гнева убивает своего единственного сына, – поясняет Мадам. И продолжает:

– Так вы еще не слышали о киевском процессе, всколыхнувшем весь мир? Так я должна вам рассказать! Вы ведь знаете...

И тут Ребман выслушивает подробную лекцию о том, что же такое ритуальное убийство. Он кивает, припоминает кое-что из уроков истории, на которых, впрочем, речь шла о диких племенах.

– Это неправда, – говорит Мадам, – такая практика сохранилась и у евреев. На свою Пасху они используют кровь христиан, чтобы готовить мацу. Это для них символ господства над их холопами, то есть над нами, христианами. С этой целью они убивают – закалывают – невинного ребенка-христианина. Вы этого не знали?

– Нет, впервые слышу, чтобы такое убийство совершалось в наши дни.

– Ну, в Швейцарии они, конечно, на такое не решатся, не станут рисковать. А в России можно. И вот такое случилось во святом граде Киеве – процесс над убийцей как раз идет. Они, конечно, все отрицают – когда это жида признавали свою неправоту?! Напрочь отметаю само наличие ритуальных убийств в иудаизме, утверждают, что это преступление совершили сами русские, чтобы потом все свалить на евреев и таким образом подготовить почву и спровоцировать новый погром.

Ребман слушает вполуха:

– Простите, а что это, собственно, такое – погром?

– Погром, – объясняет Мадам – произносится *«па-а-гром»* – это русское слово и происходит оно от *«па-грамить»*, то есть разрушить. Наступает предел терпению даже у столь добродушного по натуре русского народа. Это ведь можно понять.

– И что же, имеются доказательства того, что это именно такое убийство?

– Да, они у нас есть, – говорит Мадам и рассказывает всю историю, по порядку. Называет даже имя жертвы: двенадцатилетний мальчик!

– И что, еврей сознался?

– Как же! Какой убийца, тем более такой жестокий, сознается, что это его рук дело! Он бы все отрицал даже под сотнями пыток. Это же фанатики, они не предадут свой народ. Для такого дела отбирают самых стойких, тех, что не предадут. Поэтому все жиды за него горой: лучших адвокатов предоставили, деньги рекой текут отовсюду, даже из Америки, чтобы сфабриковать оправдательные документы и выгородить убийцу. Нет, он будет все отрицать, даже с петлей на шее!

Ребман с удивлением взирает на свою хозяйку: обычно такая благожелательная, тут она вдруг так разгневалась! Но Штеттлер ведь предупреждал. Да и с Толстым вышло довольно курьезно.

Он спрашивает:

– Что же, следствие уже располагает доказательствами того, что все было именно так, как вы описали?

– Если читать жидовскую прессу, то, конечно же, нет. Но нужно ведь и другую читать. Судя по тому, что пишут жидовские газеты и что жидовские адвокаты утверждают перед судом, это мы, русские, сами бедного мальчика....

Тут в дверь постучали – вошла прислуга, о чем-то спросила. Когда она ушла, Ребман попросил повторить, как девушка обращалась к Мадам.

– Марья Николаевна. Так меня зовут. По-русски к человеку обращаются не по фамилии: господин или госпожа такой-то, а по имени-отчеству, к моему сыну – Петр Николаевич, Татьяну Петровну вы уже знаете, а я – Марья Николаевна, ведь мой отец тоже Николай. Это ведь красиво, намного теплее и человечнее, чем «господин», или «госпожа», или даже «мадам».

Ребман кивает, а сам думает: вот так бы меня сразу и просвещала, чем попусту тратить время на всякие бредни. Но Мадам снова вернулась к истории о ритуальном убийстве:

– Мы, русские, дескать, выкупили мальчика у его отца: у собственного отца вы-ку-пи-ли! И у-би-ли! По всем правилам ритуального искусства, которым мы якобы владеем! Спрятали под Киевом в пещере! Полиции сообщили еще до происшествия! И распространили слухи о ритуальном убийстве! Посмотрите на меня хорошенько: похожа ли я на детоубийцу?

Ребман уже в раздражении: но этого же никто и не утверждал!

– Разумеется, никто не утверждал, что это была я. Но неужели вы думаете, что мы могли бы обратиться к подобным средствам? Не станешь ли тут жидоненавистником, даже если прежде никогда таковым не был?! Судебно-медицинская экспертиза четко и ясно определила это как ритуальное убийство. Вот здесь, – она указала на кипу газет, что лежала на письменном столе, – описан весь процесс от начала и до сего дня, описан как есть, без фальсификаций. Если вам интересно, я переведу для вас по частям, и вы сможете тогда написать об этом в вашу газету. И этим послужите большому делу, так как речь, в данном случае, идет о вещах, касающихся всего просвещенного мира. Для этого вам не нужно ничего делать, просто опишете результаты допросов, судебно-медицинской экспертизы и криминального расследования. Но только не посылайте этого своему учителю: что он в этом смыслит? Он вам в лучшем случае отсоветует в это вмешиваться, даже если бы сам и поверил всему описанному. Пошлите прямо в редакцию и расскажите, откуда у вас сведения, чтоб они не смогли утверждать, что это написал некто не имеющий понятия о России и российской действительности, некто позволивший себя заморочить черносотенцам, как они всякий раз и утверждают.

Ребману подобная идея подходит едва ли, у него такое чувство, что лучше держаться подальше от этой истории. Но любопытство и мысль о том, что из этого может выйти действительно интересный рассказ, все же не дает ему покоя. И когда Мадам начинает зачитывать все по порядку, он принимается усердно за ней записывать. Что это за газеты, он не спрашивает вовсе, принимая на веру роковое утверждение о том, что всему, что «черным по белому написано и напечатано, можно доверять». Мадам не производит на него впечатления праздной

сплетницы, распространяющей всякий вздор: она рассказывает так, словно видела все своими глазами, но никто не хочет ей верить.

Если он не понимает значения слова или не знает, как пишется имя, он спрашивает, и Мадам ему охотно разъясняет. Под конец ему уже не приходится спрашивать, она сама дает нужные пояснения. Битую неделю они просидели в ее будуаре. Каждое утро, как только краснорубашечник – его полное имя Пантелеймон – привозил свежие газеты, Мадам читала Ребману новости процесса. Он настолько проникся этим неслыханным событием, что даже по ночам во сне его видел.

Если бы он сейчас последовал совету шафхаузенского фабриканта, предупреждавшего его, чтобы он ни во что не ввязывался, не расспрашивал – это в России опасно! Если слишком много размышлять, то за это можно и жизнью поплатиться! Если бы он прислушался к этому совету или хотя бы к доводам здравого смысла, ему бы удалось избежать того, чего он всю жизнь потом стыдился, краснея каждый раз при одном воспоминании. Но в порыве юношеского азарта неискушенный Ребман идет и пишет свое послание, – точно в том же тоне и духе, какой ему сообщила Мадам. Теперь он и сам уже верит, что именно так все и было. Сначала он думал, что выйдет одна статья. Когда же увидел, как огромен материал, решил, ничего не упуская, раскрошить его, как хлеб, и составил целую серию репортажей под общим названием «Сообщения нашего специального корреспондента из Киева».

Сразу появилось и напряжение, и сквозное развитие. И каждый раз, когда у него готова очередная часть, он зачитывает ее Мадам – она довольно хорошо знает немецкий – и его наставница то там, то тут что-то поправляет, указывая, что следует убрать по причине несоответствия столь серьезному делу.

Наконец Ребман собирается с духом и отправляет первую статью прямо в редакцию самой большой шафхаузенской газеты «Листок города на Рейне». Когда он отдавал письмо Пантелеймону, Мадам похлопала «нашего корреспондента» по плечу:

– Вот теперь вы настоящий борец за правое дело. Мы этого не забудем!

И еще добавляет:

– Конечно, они станут на вас нападать, соберитесь же и будьте готовы, там и узнаете, что это за господа. Но мы не дадим вас в обиду! К тому же, это еще вопрос, возьмет ли газета статью или там тоже засели жидовские подпевалы.

Впрочем, «Листок» напечатал весь материал, ничего не убавив и не прибавив, но и не беря ответственности за публикацию, предоставляя читателям возможность составить собственное мнение. Уже через неделю Ребман держал в руках два авторских экземпляра газеты.

– Вот видите, – с гордостью говорит он Мадам, – в наших газетах жида не задают тон! Они хотя и поставили статью под вопрос, но с тем, что у нас еще в запасе!.. Сейчас же напишем еще и предоставим все ссылки на документы. Вот тогда и посмотрим. Не останется никаких сомнений. Мы им откроем глаза!

Он уже видит себя таким новым Столыпиным, достойным памятника в центре Киева. А Мадам, со своей стороны, делает все для того, чтоб это настроение его подольше не покидало.

Только господин полковник не говорит ни слова. Как всегда вежливо, он выслушал все, что Мадам однажды за едой рассказала об их совместном проекте. Но по выражению его лица можно было понять, что его эта затея совсем не вдохновляет. С тех самых пор Полковник всегда находит повод откланяться, когда за столом заходит речь об этом предмете.

Вскоре, однако, случилось нечто непредвиденное. В пятницу пришел очередной номер «Рейнштадского Листка», на сей раз лишь в одном экземпляре. И когда Ребман развернул газету, то вместо продолжения своей «Истории» он увидел редакционную заметку, в которой говорилось о том, что редакция не разделяет предвзятых мнений русских антисемитов и ответственность за необдуманную публикацию возлагает исключительно на сотрудников, допустивших материал к печати. Указанной публикацией редакция ни в коем случае не хотела испор-

тить традиционно добрые отношения между швейцарскими христианами и иудеями, тем более оскорбить последних. Кстати, в ближайшие дни будет напечатан ответ шафхаузенских иудеев, основанный на аутентичных материалах.

Ребман бегом бежит к Мадам и читает ей газету:

– Что вы на это скажете?

– Ничего, – говорит мадам Орлова, – этого я и ожидала.

– Но ведь они же напечатали!

Мадам улыбается:

– Они всего лишь газетчики. Их не интересует правда и суть дела, они заботятся только о своих кошельках. Чтобы заполучить подписчиков и разместить несколько лишних рекламных объявлений, они откажутся от любых убеждений, если у них таковые вообще имеются. Они с жидами заодно. Теперь вы убедились, какой они обладают властью.

– И как же мне теперь быть? Это ведь не дело, когда тебя вот так выставляют на посмешище всему миру!

Мадам спокойна:

– Попробуйте написать опровержение. Я лично сомневаюсь, что это что-нибудь даст, но попробуйте. В случае отказа нам ничего не остается, как бросить эту затею или обратиться в другое место. Человечество, вероятно, все еще пребывает на той стадии развития, когда охотнее всего слушает детские сказки.

– Хорошо, я им сейчас же отпишу, – говорит Ребман. И пишет: так, мол, и так, он настаивает на своей правоте и желает привести доказательства в свою защиту!

Сразу же приходит ответ из редакции, что они больше ничего не могут публиковать по этой теме. Что-нибудь другое с удовольствием, ведь в огромной России наверняка есть что послушать и посмотреть, найдутся вещи, о которых можно поведать всем со спокойной совестью.

Но тут в Ребмане проснулся норовистый Скакун школьных дней. Мадам уже не нужно его подталкивать, он действует самостоятельно. Бурные послания в редакцию летят одно за другим. Ответ всегда один и тот же: вежливое, но определенное НЕТ.

– Теперь видите? – говорит Мадам. – Один телефонный звонок, и ваша знаменитая рейнская газета... Какие еще нужны доказательства?

– Тогда пошлем опровержение и все остальные статьи в другое издание, но я не стану скрывать факты, нет, этого делать я не буду!

В то время как «специальный корреспондент в Киеве» перед открытым окном и на расстоянии вытянутой руки от цветущего куста бузины «во имя справедливости» строчит очередную колонку, письмо из Шафхаузена, отправителем которого значится доктор Альфред Ной, находится уже в пути. И утром Пантелей привозит депешу со станции. Доктор пишет коротко и ясно: «Журналистика такого рода, дорогой друг, не делает чести никому – ни нам, ни тем более вам. По прочтении ваших корреспонденций хочется задаться вопросом: а были ли вы вполне трезвы, когда писали эти строки. Речь идет о вещах, в которые сегодня ни один здравомыслящий человек уже не поверит. Конечно, каждый, кто вас хорошо знает, сразу поймет, что вам всю эту чушь вбили в голову люди определенного сорта. Но те, кто с вами незнаком, могут принять вас за неразборчивого халтурщика».

Первая реакция господина гувернера была довольно резкой: что это он себе позволяет, я ведь уже давно не школьник! Но тут он обратил внимание на приписку: прежде чем отправить письмо Ребману, доктор еще раз перечел статью от корки до корки в надежде, что в первый раз что-то упустил. У него разболелось сердце, когда он с горечью подумал о том, что автор этого пасквиля – швейцарец, да еще и его бывший ученик. Разве он не понимает, что подобные вещи бросают тень на всех них, и что за все, что мы делаем, рано или поздно придется держать

ответ – как тогда смотреть в глаза людям?! Когда он такое читает, то тысячу раз укоряет себя в том, что дал Ребману рекомендацию.

Глава 11

На следующее утро Ребман спросил Мадам, можно ли ему взять отпуск на несколько дней, чтобы съездить в Киев.

– Конечно-конечно, – отвечает она. – Когда вы хотите ехать?

– Лучше всего было бы прямо сегодня. И воскресенье провести там, если вы ничего не имеете против.

– Нет-нет, поезжайте с Богом, Пантелей может отвезти вас на станцию.

Краснорубашечный почтальон из Барановичей повезет его уже не в «мусорной тачке», нынче он явился на двуколке. И господин гувернер, или Месье, как его называла прислуга, наверстал упущенное: высадившись на станции, он вложил в руку кучера целковый на чай.

Сразу перейдя на французский, Мадам Орлова поручила ему передать привет мадам Проскуриной и сказать, что все идет хорошо.

Станционная площадь перед вокзалом теперь совсем высохла, никаких следов ни снега, ни грязи, зато пылица такая, что впору задохнуться.

На сей раз кучер остановился прямо у входа. Уже у окошка Ребман вспомнил, что забыл спросить, как полагается брать билет. Он поднимает два пальца вверх и говорит «Киев». Служащий проштамповал два билета первого класса и протянул клиенту.

– Нет, – кричит тот в ответ, – *адин билет, два класс!*

Служащий принимает билеты назад и штампует один во второй класс, кажется, он понял тот своеобразный русский, на котором изъясняется этот «немец». Он спрашивает, нужна ли пассажиру плацкарта? Но Ребман уже забыл, как еще в Волочиске Студентка говорила, что каждый раз к билету нужно брать еще и плацкарту. Он протягивает в окошко десятирублевую банкноту, свою последнюю, и дает понять, что и так всем доволен.

Потом он отправился к поезду, возбужденный и радостный, словно школьник, едущий в Киев на каникулы. Как это чудесно снова почувствовать себя свободным и видеть вокруг новые лица! Стоило ему удобно устроиться в мягком кресле – все места в купе были свободны – открылась дверь, и раздался голос кондуктора:

– Билет, пожалуйста!

Ребман протянул билет и тут же получил его обратно. При этом кондуктор, кажется, не совсем доволен:

– Плацкарта? – спрашивает он, – и указывает Ребману на номер над его местом. Тот показывает, что не понимает по-русски. Тогда кондуктор пытается объясниться по-немецки. Очевидно, он догадался, что пассажир едет из Барановичей – откуда же еще? – да и на станции наверняка решили так же.

– *Месье*, – начал он, – *ауф руссии Айзенбан, вэн зитцэн, мус хабэн платцкарт, зонст гэхен ин коридор. Вас вюнилэн?*¹⁴

Тут господин учитель наконец понял, полез в карман и вынул пятирублевку. Кондуктор достал карточку, что-то на ней написал и вставил ее в кармашек над местом Ребмана. Тот отдал свою последнюю купюру – сдачу с десяти рублей. Зато теперь можно снова спокойно смотреть в окно и размышлять. Там все выглядит по-весеннему прекрасно. Вдоль железной дороги уже не видно нищих паломников.

Он уже не кажется самому себе таким чужаком, как в ту первую поездку. Хотя он еще и не все понимает по-русски, но то одно слово, то другое нет-нет да и обретает вполне конкретный смысл. И тогда он счастлив, как золотоискатель, неожиданно для самого себя обнаруживший среди намытого песка крупинки чистого золота.

¹⁴ На русских железные дороги, если сидя, надо плацкарта, а то идти в коридор. Что желаете? (дословно).

На вокзале в Киеве извозчики снова выстроились в очередь. Как только они видят, что никто не останавливается, они трогают с места и сопровождают клиента шагом:

– Куда, барин? Куда прикажете?

Ребман сказал адрес, и растрепанный извозчик ответил в полном соответствии с ожиданиями седока:

– Целковый!

На это господин гувернер отвечает со знанием дела, как будто он и родился, и вырос в этом городе:

– Четвертак и точка!

Но рецепт мадам Проскуриной почему-то не действует, извозчик не только не делает реверансов, но даже и не отвечает. Он уезжает, оставляя барина из Барановичей ни с чем. Тут что-то не так, думает тот, и подзывает другого извозчика. Говорит, куда ехать. В ответ снова: целковый. Тут Ребман достает полтинник и крутит его двумя пальцами в воздухе, давая понять, что не лыком шит. Но извозчик начинает разводить катавасию, вертит кнутом, намекая франтоватому «немцу», что дорога дальняя. Но когда он видит, что коса нашла на камень, прекращает торг и возвращается на прежнее место.

– Вот чудак! – слышит Ребман в свой адрес.

В «Швейцарском Доме», куда он добрался через добрых полчаса, потому что вынужден был идти пешком, его снова встретили с распростертыми объятьями. Он тут же поведал о своих злоключениях с извозчиками на привокзальной площади: несмотря на то, что он вел себя точно так, как учила мадам Проскурина, поднял цену до полтинника, никто не захотел его везти.

– Следовало дать семьдесят пять копеек, тогда бы поехали.

– Но вы же учили ни за что не платить больше четверти от того, что просят! И что такое «чу-дак»?

– Чудак? *Ein Krauter*. А что?

– Так мне кричал вслед извозчик, а вся их компания при этом ухмылялась.

– Ну и как же вы сюда добрались?

– На своих двоих, как лягушка.

– Могли бы, по крайней мере, сесть на трамвай!

– Нет, я... э... мне хватило мороки у билетной кассы, да и потом, в поезде, тоже. И он рассказал все по порядку:

– Как же это мучительно, если совсем не можешь столкнуться с людьми!

Мадам Орлова велела вам кланяться и просит передать, что у нас все в порядке.

– Да она мне и сама то же говорила, она уже дважды побывала у нас, один раз даже с Пьером. Они весьма довольны новым гувернером. И Маньин высказывался в том же духе. Не правда ли, они очень милые и достойные люди? Вы поедете с ними на Кавказ?

– Я? Пока ни о каком отъезде не было речи. Не совсем понимаю, отчего они так торопили меня с отъездом. Чтобы сразу по приезде устроить мне пятинедельные «каникулы»?

– Пусть вас это не смущает. Россия – это вам не Швейцария, где все начинают сходиться с ума, если лошадь полдня стоит не запряженная. Вы пока осмотритесь, попривыкните к новому окружению и новому климату. Мадам Орлова признала, что вы ей понравились. Что же вы делали в Барановичах все это время? Правда, весна очень хороша в загородном имении? И обстановка, и обхождение, и все прочее... Вы прилежно учили русский?

– Нет. Но в остальном я старался, даже слишком. – И Ребман рассказал вкратце, что он успел натворить, и о том, что его теперь беспокоят последствия этой горе-журналистики. Мадам Проскурина его утешила:

– Ну, мир от этого не перевернется... Евреи далеко не без греха, поверьте! Кроме того, вы же не имели никаких дурных намерений, когда писали эти заметки.

– Нет, конечно же, нет, я даже... Во всяком случае, я верил тому, что мне рассказали. Верят ли они в это сами – это уже другой вопрос.

– Вы имеете в виду евреев?

– Нет, Мадам и Маньина.

– Маньина вы не очень слушайте, он говорит то, что хочет слышать Мадам. А в то, что она сама говорит, она, конечно, верит. Не забывайте: здесь у нас в России во многом еще средневековые устои, особенно в деревне. Но вам об этом не стоит беспокоиться. Вы делайте свое дело и вместе с тем старайтесь смотреть в корень, тогда непременно выйдет что-нибудь стоящее. Вы как раз получили небольшой урок, но через это все проходят – такова жизнь. Стоит ли так расстраиваться по пустякам?!

Ребман хотел было ответить, что для него это вовсе не пустяки, но тут открылась дверь и вошла девица Титания во всей своей красе.

– Ах, – воскликнула она, протягивая руку, – вот и мой спаситель! Вы прекрасно выглядите! А как обстоят дела с русским языком? Вы теперь согласны, что восемь – это обыкновенное число?

– Да, теперь согласен, как и со множеством других очевидных фактов.

– Вы надолго в Киев?

– Только до воскресенья. Я себя чувствую слегка одичавшим псом, радующимся возможности снова видеть людей и поразмять язык, совсем закорстевший в деревенской глуши.

К обеду подходят и другие: мадам «Монмари», которая только что встала из-за мигрени, двое эльзасцев, Штеттлер, красавица-ирландка и Аннабель. За столом так же шумно, как и месяц назад, все места снова заняты. На этот раз Ребман чувствует себя очень комфортно. Как же это здорово снова понимать, о чем говорят люди, даже если они делают это по-французски!

Он рассказал, какого мнения о царе и о Толстом придерживаются в Барановичах, и, к своему большому удивлению, обнаружил, что того же мнения держатся и здесь, в «Швейцарском Доме».

– Царь, – говорит мадам «Монмари» в своей уверенной манере, – не просто дурак, он идиот. А что касается Толстого, то, знаете, о женщинах говорят: в молодости – шлюха, в старости – ханжа. О Толстом, как и о многих представителях «рыцарского» пола, можно с таким же основанием сказать: в младости – распутный, в старости – занудный.

Она делает презрительный жест рукой, будто Сусанна, отмахивающаяся от старцев.

От еды Ребман далеко не в таком восторге, как в прошлый раз. Мадам Проскурина, кажется, это заметила:

– Ага, вот и еще один новоиспеченный гурман. После барских разносолов наше скромное угощение вам уже не по вкусу. Да, мы не можем подавать перепелок и фрикадели, нам это все не по карману. Зато мы можем похвалиться другими вещами. Сходите-ка с ним в Лавру после обеда, месье Штеттлер, там уже не так много народу, теперь можно рискнуть! Покажите ему это чудо, и он увидит, что Россия – это не только пьянство и безобразие.

После обеда они отправляются.

– Поедем? – спрашивает Штеттлер.

– Нет, пройдемся. Хочу посмотреть на людей после четырехнедельного заточения.

А людей и, правда, много. Красивый широкий Крещатик кишит ими, словно муравейник. Отовсюду веет запахом духов и прочими ароматами.

И евреи есть. По двое или по трое расхаживают себе размеренным шагом или стоят кучками у домов, потрясая какими-то важными бумагами и бурно их обсуждая:

– Он мене цугезагт!

– Я вас кэннэн Зи, понимаете ли?

– Никс цу махн, совсем аусрангирт!

И так далее. Еще месяц назад при такой оказии Ребман уже стал бы подшучивать и подтрунивать над ними, как Маньин. Но после всего, что с ним приключилось, ему уже не до шуток. У него такое чувство, что он прилежно рыл другому яму, да сам в нее и угодил.

Видя вокруг множество нищих и попрошайек, он указывает на оборванца, лежащего на земле у перевернутой шапки:

– А что, в России нищенство разрешено?

– Не просто разрешено, – смеется Штеттлер, – это «почетное ремесло». У каждого свое место на ярмарке, и не дай Бог, чужой его займет, может дойти до поножовщины. Ведь это доходный промысел. Вон там стоит один, с деревянной ногой: я ему раз по ошибке дал пятидесятирублевый билет. А он мне на это: «Сколько могу удержать-с?» Ведь этот «бедняга» зарабатывает больше нас с тобой вместе взятых.

Они как раз проходят мимо галантереи.

– погоди минуту, нужно кое-что купить, пока не забыл, – говорит Ребман, заходя в лавку. Молодой человек, верно, приказчик, спрашивает, чего господин изволит.

– *О дэ Колонь Алиэно́р.*

Приказчик смотрит на него, как на экзотическое животное:

– Чего прикажете?

Ребман повторил, еще медленнее, еще четче и еще более на французский манер. Но приказчик только качает головой и зовет старшего. Тот спрашивает на хорошем немецком, чего господин желает.

– *О дэ Колонь Алиэно́р*, – уже в третий раз повторяет Ребман.

Этот запах запомнился ему в первый же день пребывания в Барановичах. Такой сильный, дурманящий. Именно тем он Ребману и понравился. «Я тоже должен таким обзавестись», – подумал тогда он, и при первой же возможности спросил у Маньина название парфюма и узнал, где его можно купить. И вот наконец он его приобретает.

– А, господин желает одеколону! Простите, какой марки?

Ребман повторяет в четвертый раз. И уже через минуту он держит в руках драгоценный флакончик и видит, что это именно то, что показывал ему Маньин. Сначала он боялся, что цена окажется слишком высокой, у него осталось только несколько рублей. Но одеколон стоил всего рубль.

– Ну а теперь вперед, на всех парусах!

– И дальше пойдем пешком?

– Так это же как раз за этой, как ее, – ну да! за Владимирской горкой. Уже совсем недалеко.

– Нет, для глаз недалеко, но для ног – во всяком случае, не меньше часу ходьбы. Лучше поедем трамваем, а то и сегодня не попадем в Лавру. Там за две минуты всего не осмотришь. Это же целый город, даже два: один – на горе, а другой – внутри горы.

Во время поездки, которая с пересадкой заняла около полчаса, Ребман спросил у Штеттлера:

– А ты знал Водноголового?

– Это еще кто?

– Как же, брат Пьера Орлова!

– А, того самого? Ну да, он как раз покончил собой, когда я еще служил у них.

– Так что же у него было?

– Да ничего, кроме того, что он был разумнее их всех. Светлая голова, скажу я тебе, из него бы мог получиться настоящий ученый.

– Ученый с таким диагнозом – водянкой головного мозга?

– О, это они всем только рассказывали, потому что он, Мадам и...

– Но Маньин ведь говорит, что он был настоящим дьяволом, даже еще опаснее.

– Да, в каком-то смысле. Он-то знал, что у них происходит. Именно поэтому его и заточили в Батуме и утверждали, что он буйный и припадочный. На его месте любой другой реагировал бы точно так же. Но такие штучки довольно часто случаются на святой Руси. Это же сатрапы, как пишут в книгах. Будь с ними поосторожнее, ни во что не ввязывайся, не то пропадешь. Стоит только словечком обмолвиться, и – *xonn!* – у тебя уже полиция на хвосте. А те не верят ни одному твоему слову, даже если ты говоришь чистую правду.

Тут им нужно было делать пересадку. И как только они снова уселись, Ребман продолжил:

– Вот что я хотел спросить: ты знаешь что-нибудь о ритуальном убийстве, совершенном здесь в Киеве?

От удивления Штеттлер сделал брови домиком:

– Они что, пытались тебя обработать этими рассказами?

– Не просто пытались.

– И ты оказался таким ягненокком? Нас ведь в Швейцарии еще в школе ушили...

– Я не ягненок и не овечка.

Штеттлер похлопал Ребмана по плечу:

– Ну, будет, я же не хотел тебя обидеть.

Но теперь уже Ребман берет быка за рога и выкладывает всю историю от А до Я, ни в чем себя не оправдывая.

– Я должен с кем-то поделиться, эта история просто душит меня, поэтому я и приехал в Киев. Вот – он достал обе газеты, свою статью и опровержение, и протянул спутнику, – можешь сам прочесть. Но я должен предупредить: я во все это поверил. Это единственное оправдание, которое у меня есть, если мне вообще можно найти оправдание.

Штеттлер пролистал обе статьи, несколько раз кивнув, но чаще качая головой. Наконец он сказал:

– Поговорим об этом позже, теперь нам пора сходить. Похоже, еще один кающийся грешник пришел во святую Лавру. Кто мог ожидать такого поворота. Ну, идем же! И не делай такое лицо, чтобы каждый прохожий видел, что ты ошибся и страдаешь, ты ведь уже на полпути к исправлению.

Он берет «грешника» под руку:

– Все, пойдем. И спасибо тебе за доверие!

При входе в монастырь им навстречу вывалила толпа крестьянок с котомками за плечами, с палками вместо посохов, одетых в волочащиеся по земле юбки из грубой ткани, из-под которых выглядывали тяжелые мужские сапоги. Все лица закутаны в черные платки. Ребман смотрит им вслед:

– Можешь мне что угодно посулить, но в таких нарядах я по их виду ни за что не определю возраста.

Молодые люди идут вдоль наружной стены, которая огибает весь холм, и дальше по дороге, ведущей вверх к святому граду. Монастырь расположен на песчаной скале высотой в семьдесят-восемьдесят метров, ступенчато ниспадающей в Днепр. Еще одна стена, намного выше и толще прежней, со старинными балками сторожевых башен. И вот они стоят у центральных ворот перед надвратной церковью, даже наружные стены которой сплошь расписаны ликами святых – несколько десятков изображений. А над ними позолоченная крыша. На боковых стенах слева и справа от ворот – росписи: монастырь, с Сионской горы устремляющийся в небо, два ряда святых угодников, каждый из которых изображен внутри звезды. И на входных воротах святые: в длинных облачениях, с красивыми белыми бородами, со свитками писаний в руках. За воротами видна колокольня собора и один из золотых куполов.

Это теперь можно все словами описать. Но не когда вот так стоишь, и все это сверкает перед тобой под прозрачным весенним русским небом! Это не просто голубой шатер над голо-

вой, сквозь который видишь небеса, взгляд устремляется все выше и глубже, проникая в тайну бесконечности времени и пространства.

– А почему вон там, на куполе, вверху под крестом еще и полумесяц? – спрашивает Ребман.

– Византийский крест над азиатским полумесяцем!

Они входят через ворота в монастырь, нет – в город!

Да, это был настоящий город с улицами, садами, гостиницами, школой и церквями. Штеттлер утверждает, что здесь есть даже своя типография.

– Что, собственно, означает слово «Лавра»? – спрашивает Ребман, – это имя святого?

– Нет, Лавра – это просто название монастыря: лавра или монастырь, так говорят русские. Он постучал в окошко в глубине ниши. Бородатое лицо – борода начиналась уже у самых глаз – выглянуло оттуда. Они перебросились между собой несколькими словами. Окошко снова затворилось. И тут же к ним из боковой двери вышел монах с каштановыми локонами, как у Христа. В руках у него был фонарь.

– Это наш проводник, – говорит Штеттлер. – Всего мы за полдня, конечно, не осмотрим, для этого потребуется целая неделя, но самое важное и прекрасное ты все же увидишь. Сначала пойдем в Церковь Трех Святителей, это одна из самых старых во всей России. Он делает знак монаху, и они идут.

– Это у них какой-то особый орден, что у него такие длинные волосы?

– Нет, у всех православных духовного звания точно такие же.

Как только они вошли внутрь, монах машинально затараторил. Штеттлер переводит всю историю монастыря: основатель – митрополит Илларион, живший в одиннадцатом веке. Во время первого нашествия татар монастырь полностью сгорел и был восстановлен в четырнадцатом веке, и так далее, так далее, целую ектенью. Но Ребман его не слушает, ему бы только глазеть: что за блеск, что за изысканность, просто варварское какое-то великолепие! Иконы сплошь покрывают стены, все в чистом золоте и густо усыпано драгоценными камнями. Ни уголка, ни кусочка стены, где бы не было росписей или золота и где бы не прятались старые, пылью веков покрытые образа. В полумраке, в кадильном дыму, которым всех входящих тут же окуривают, возникает чувство страха. Мнится, что Святые в любой момент могут наброситься на тебя. Ребману даже несколько раз показалось, что он видел разряды молний.

– Какой контраст, – тихонько шепчет он Штеттлеру, – здесь такая расточительная роскошь, а там – оборванные нищие на голой земле. Спроси его, все ли камни на этих иконах настоящие, и считает ли он правильным то, что на деньги бедняков покупается такое великолепие...

Но тут монах оборачивается, смотрит на Штеттлера и сам его о чем-то спрашивает.

– Что он сказал?

– Он хочет знать, православные ли мы.

Штеттлер отрицательно качает головой, и монах снова его о чем-то спрашивает.

– Верим ли мы в чудотворные иконы и в святых?

Снова качание головой, на сей раз очень энергичное.

Монах продолжает допытываться:

– А вы из каких, немцы, что ли?

– Швейцарцы, – отвечает монаху Штеттлер.

– Это еще что такое?

– Это страна такая, Швейцария, а мы ее граждане.

Монаху кажется, что его дурачат:

– Ну и где ж это будет?

Штеттлер машет рукой вдаль, дескать, во-о-он там...

Монах провожает руку взглядом:

– Что, далече?

– Да уж...

– Дальше Москвы?

– Намного.

– Дальше Рима или Парижа?

– Нет, ближе.

– Так где же это? – вопрошает монах. – Париж и Рим ведь как раз на русской границе, а между ними и нами сроду ничего не было!

– Что он еще хочет знать?

– Спрашивает, на каком языке у нас говорят?

Штеттлер вытягивает четыре пальца:

– У нас говорят на четырех языках, не на одном!

– На каких?

Штеттлер называет ему все четыре.

– А на русском?

– Нет, по-русски у нас не говорят.

Монах расспрашивает дальше:

– А велика ли ваша столица?

Штеттлер отвечает. Монах хочет знать еще, кто ними правит, царь или император?

– Ни того нет, ни другого.

– И даже короля нету?

– Мы сами у себя правим! – по-швейцарски гордо заявляет Ребман.

Монах задумчиво вытягивает лицо, по которому можно легко прочесть то, что он хочет сказать: ни святых, значит, и веры нету, ни царя, ни императора, ни даже короля, ни большого города. Он почесал что-то в бороде, повернулся и пошел прочь, так и оставив «немцев» в недоумении.

– Что он сказал?

– Что мы – варвары.

Дальше они пошли одни.

– Какова же вера этих людей, – говорит Штеттлер, указывая на убогих, бедно одетых богомольцев, что до земли кланяются перед чудотворной иконой и без конца вдохновенно крестятся, – каков камень Веры, на котором они жизнь свою строят! Сотни километров сквозь снег и дождь по колено в грязи, замерзшие, голодные, без денег и без крыши над головой, горбушка черствого хлеба в котомке из мешковины – а в сердце эта всеильная Вера в чудо, которая помогает преодолевать все трудности. А для нас и путь в сто шагов стал непомерно длинным. Ты уже бывал в здешних церквах?

– Был в прошлое воскресенье. Однако ничего не понял. Вместо утешения – мрачное чувство.

– Все остальные тоже не понимают по-старославянски или понимают далеко не все. Но они не за этим ходят в храм. Русский несет в церковь свое сердце. У него такая вера, какую должен бы иметь каждый. Он не только поклоняется своим святым, он их почитает и любит всей душой, и хочет тоже быть таким же, как они. В его глазах это не просто их портреты, это они сами! Они всегда рядом: все видят, все слышат, что бы он ни говорил и что бы ни делал. Если же он совершает нечто недостойное, то поворачивает икону ликом к стене, чтобы не огорчать святого, не причинять ему боль. Ты этого еще не заметил?

– Заметил, что нет скамеек, даже для таких стариков, как вон тот дедушка, что с палками ходит.

– И правда, даже для таких нет ни скамейки, ни стула. Все должны стоять или на ногах, или на коленях, даже если служба длится два или три часа. В Швейцарии...

– Там народ вовсе не участвует в службе, все только стоят себе, отстаивают.

– Да нет же, нет! Они молятся!.. Но мы теперь должны поспешить, если еще хотим поспеть в пещеры.

Они подошли к задним воротам, и Штеттлер снова о чем-то перемолвился с привратником.

И вот опять к ним выходит монах, но уже другой, тоже с фонарем в руках.

– Пожалуйста, – говорит он и сам проходит вперед к воротам, потом – направо через лужайку и вниз по узким деревянным ступенькам вдоль почти отвесной скалы. Посреди лестницы он остановился, зажег фонарь, отпер дверцу в стене, и они вошли в нее.

Собственно, здесь не так уж много и увидишь. Во всяком случае, совсем не то, чего ожидал Ребман: никакого подземного города, столь же великолепного, как тот наверху, ничего кроме множества проходов внутри известняковых стен. Они расходятся во всех направлениях, как лабиринт: наверняка многие потерялись в этих подземных ходах, невзначай оторвавшись от проводника! И на каждом шагу – ниша в стене: то пустая, а то со старинным саркофагом внутри и горящей около него лампадкой. У тех, в которых есть саркофаг, монах останавливается, крестится и что-то говорит Штеттлеру.

– Что он сказал?

– Назвал по имени архиерея, лежащего в этом саркофаге.

– Что, они так до сих пор там и лежат?

– Безусловно, даже в полном облачении, но, естественно, в виде мумий, похоже, их набальзамировали.

В некоторых местах внутрь просачивается вода, там и стены, и земля очень влажные.

– Спроси его, действительно ли пещерные ходы доходят до самого Днепра?

Штеттлер сначала переводит вопрос, затем – ответ монаха.

– Нет, он полагает, что не доходят, а то бы пещеры наверняка давно уже развалились бы. Ну что, хочешь спускаться дальше? Скоро пробьет пять.

– Нет, лучше вернемся. Спроси его, сколько стоит его экскурсия?

– Сколько дадите!

Каждый дал по четвертаку.

Они выходят из пещер, садятся на скамейку и смотрят вниз на Днепр, который течет совсем близко. От множества судов, больших и маленьких, даже в глазах рябит.

Штеттлер достал обе газетные статьи и вернул их Ребману:

– О чем же ты думал?

– Ну я...

– Ты думал, что у тебя хоть уздечка в руках останется, если поскачешь галопом в этой чудной кавалькаде? А думал ли ты, что случится потом, когда ты перестанешь им подпевать, об этом ты подумал? Эти люди опасны, они только на первый взгляд кажутся добродушными и безобидными, но если с ними свяжешься, продашь душу дьяволу. Эти люди насквозь прогнили. А тут еще эта мадам Проскурина, глупая баба, поставляющая Молоху все новых жертв!

Он качает головой:

– Столь неопытного человека втравить в такую гадость! До этого им и дела нет. А швейцарская газета еще и напечатала! Ты думаешь, евреи всегда должны терпеть, что каждый оборванец может на любого из них показывать пальцем как на убийцу! Они не могут никогда быть уверены, что погромщики среди ночи не вытащат их из собственной постели... Вот что я тебе скажу: я тут в России такого насмотрелся – хоть криком кричи от бессильного гнева. Какая-то дама бросает прохожему прямо в лицо: «Грязный жид!» – по-французски, конечно. А тот ведь ей вообще ничего не сделал, лишь вежливо попросил: «Позвольте пройти, мадам!» И за это получил оскорбление. Ужасно! Так бы и придушил гадину! Даже говорить трудно, как вспомню об этом – от стыда хочется сквозь землю провалиться.

– А я думал, русские – добрый народ.

– Русский человек, как стихия: открытый, щедрый до мотовства, в трудную минуту себя не пожалеет и не попросит награды. Однако же, как и на стихию, на него нельзя положиться: когда опускается или если кого-то невзлюбит, он превращается в животное. А такое легко случается, ты еще с этим наверняка столкнешься. Но иначе он бы не был русским, из песни слов не выкинешь.

Когда они вернулись в Дом, все общество уже сидело за ужином. Ребман заметил, что некоторые дамы, в том числе и красавица-ирландка, одеты в вечерние туалеты.

– Ну, входите же, монастырская братия, для вас как раз есть послушание.

– Ах, как мило, – иронизирует Штеттлер. – И что же нас ожидает?

– Место в театральной ложе. И если вы будете хорошими кавалерами, вас ожидают благодарные взгляды дам, которых вы будете сопровождать.

На это Штеттлер откликнулся все в том же шутиливом тоне:

– Какая честь, ее сиятельство снова приглашает нас в свою ложу посмотреть пьесу, которая для нее не слишком хороша!

– Нет, у нее просто другие обязательства, а то бы она обязательно пошла. И вы должны быть ей признательны: на «Бориса Годунова» с Цесевичем вы бы никогда в жизни не попали, тем более здесь, в Киеве.

– Ах, вот оно что! Это совсем другое дело, это мы принимаем и целуем ручку.

– Да, но я не могу пойти в театр, я одет неподобающим образом, – заявляет Ребман.

Мадам Проскурина возразила с присущей ей решимостью:

– Ах, не усложняйте так дело! Это возможность, которая вам наверняка не скоро опять представится. В России не обсуждают за ужином, куда бы нынче вечером пойти: может, на «Бориса Годунова»? А кассир в окошке не млеет от счастья, что господин и госпожа Майер сооблаговолили пожаловать. В России простой смертный не получит в кассе никакого билета, разве только простояв целый день у театра в ожидании.

– А что же люди делают, если хотят пойти в оперу?

– А вот что, вмешался в разговор Штеттлер, – те, кто не в дружбе с князьями, приходят за полчаса до начала спектакля. Потом ищут барышников, вернее, те сами к ним подходят, если заметят, что кому-то нужен билет...

– Барышники, кто это?

– Русское изобретение. Это те, кто заранее скупает все билеты, разумеется, с ведома кассира. И тут начинается торг, тогда можно, в зависимости от пьесы и от состава исполнителей, поднимать цены в четыре-пять раз, а то и вдесятеро, если окажется, что много желающих во что бы то ни стало попасть на спектакль. Если выложишь двадцать пять рублей за билет на оперу, которую дают сегодня вечером, то это большая удача, иначе и вовсе не попасть. Так что наплюй на свой костюм и ступай, другие на твоём месте пошли бы и в ночной сорочке.

– Что ж, с удовольствием, если дамы ничего не имеют против.

Уже на улице Ребман спросил Штеттлера, сколько продлится спектакль.

– Смотря по количеству «бисов». В любом случае окончится не раньше полуночи. Но тебе ведь завтра с утра не нужно вставать в школу.

– Нет, но нужно еще проводить наших дам домой, это ведь главное условие, – напоминает мадам Проскурина.

– И как я потом попаду в дом, вы ведь будете уже спать?

– Придется позвонить, к вам выйдет ночной портье и откроет парадную дверь, а ключ от квартиры я вам сейчас дам.

– Ночной портье? Тут что, гостиница?

– В каком-то смысле да. Дадите ему на чай.

Когда они спускались по лестнице, ирландка или Мисс, как все ее называли, спросила Ребмана: разве он не рад, что идет с ними?

– Он просто грустен, оттого что он не первый, а второй красавец в нашем обществе, – быстро нашелся Штеттлер.

Тогда Мисс подходит к Ребману и, подмигнув ему, кокетливо замечает:

– *I like you just the way you are!* – Вы нравитесь мне таким, как есть!

Дорогой Ребман спросил Штеттлера, часто ли тот ходит в театр.

– Я – не часто, другие же довольно регулярно. Мадам Проскурина нередко получает билеты от разных богачей и раздает их своим любимчикам.

– Выходит, ты из их числа!

– Нет, она меня только из-за тебя пригласила, и еще, конечно, в качестве провожатого.

Перед театром у него в глазах темнеет от множества карет и экипажей. А внутри он ослеплен шубами, цилиндрами, золотыми эполетами и звездами на офицерских мундирах.

Ребман пробирается вперед за Штеттлером. Посреди этого блеска и великолепия он себя чувствует неким «отбросом общества». Но никто на него не обращает внимания. Им даже не нужно идти в гардероб: как только Штеттлер предъявляет карточку с княжеским гербом, их всюду пропускают, а наверху, в первом ярусе, услужливый лакей в белом головном уборе предупредительно распахнул перед ними двери княжеской ложи, так, словно они и были «их сиятельствами» во плоти.

И вот Ребман уже сидит в ложе и только и может, что глазеть вокруг широко раскрытыми от удивления глазами. То, что такое бывает, ему и не грезилось, он не смел и мечтать о том, что увидит это наяву: огромный театр как будто облит золотом и пурпуром, все выглядит по-царски великолепно. Пять ярусов, верхний – просто на заоблачной высоте. Одна сцена смогла бы вместить весь театр в городе на Рейне. А туалеты дам! Можно сказать, что красавицы скорее обнажены, чем одеты. И повсюду сверкают бриллианты. И везде аромат тончайших духов.

– И здесь, в этом театре стреляли в Столыпина?

– Да-да! На глазах у августейшего самодержца. Столыпин вот так облокотился на перила, беседуя с Государем, тут и бабахнуло.

Штеттлер говорил таким тоном, как будто речь шла о перегоревшей электрической лампочке. Тут он указал направо:

– Вот она, царская ложа. Подойди поближе, тебя никто не застрелит.

Ребман встает. И теперь он видит ее, увенчанную золотым двуглавым орлом.

– Вот значит как. И что, они часто здесь бывают?

– Они здесь всегда, символически.

Когда он снова садился на место, то заглянул в соседнюю ложу: полные полуобнаженные дамы и господа во фраках с напояженными волосами, довольно громко беседующие.

– И все же тут полно евреев, – заметил он Штеттлеру, – и не похоже, чтоб им было плохо, никогда не скажешь, что их притесняют или тем более бьют.

– А зачем это показывать? Они тоже имеют право радоваться жизни, в конце концов, они тоже заплатили за билет, как и... ну, нас-то пригласила княгиня...

– Кажется она благородная дама. Ты ее когда-нибудь видел?

– Даже почти обонял. Я был на волоске от того, чтоб давать уроки в их доме, но, слава Богу, до этого так и не дошло.

– Как она выглядит?

– Да черт с ней... Пардон, как античная богиня, которую освежили и перекрасили.

Как только он это проговорил, погасили свет. И тут Ребман встретился с чудом, возможным только в России, которое, как и всякое чудо, словами не опишешь. Музыка! Великолепие костюмов и декораций! Балет! Голоса! Но больше всего его поразила публика. Она не сидит смиренно, не ждет, пока закончится акт, она прямо посреди спектакля начинает топтать, хлопать

и кричать: «бис, б-и-и-с, би-и-и-с!» Некоторые арии, хоры и танцы повторяли по три-четыре раза подряд, до тех пор, пока публика не успокаивалась. И когда окончился первый акт, началась такая буря оваций, что, казалось, театр развалится. Ребман все время поглядывал на центральную люстру, не упадет ли та вниз.

– Это что, на каждом представлении так?

– О, дитя мое! Если бы ты оказался здесь, когда выступает Шаляпин или Гельцер, Павлова, Карсавина, Нижинский, Дягилев с Петербургским балетом или Московский Художественный театр, тогда весь дом так и ходит ходуном! Но на такие спектакли билетов не достать. Я пытался, в самом начале своей жизни в Киеве. По наивности еще в обед отправился в кассу. Конечно же – ничего, кассир так на меня посмотрел, как будто я потребовал от него пропуск на царский бал. Я – снова на улицу, ко мне сразу подошел какой-то тип, как потом выяснилось, барышник, и предложил билет на Шаляпина! Сразу достал целый веер. Я уже довольно хорошо говорил по-русски: день и ночь зубрил, перед тем как распрощаться со Швейцарией. Сколько стоит, спрашиваю. Двадцать пять рублей! Я предложил пять. Потом десять. И знаешь, что он мне на это ответил? Двадцать пять! И так как я не собирался платить, он спрятал весь веер билетов обратно в пальто. Да, теперь самое интересное: вечером я себя почувствовал настоящим ослом, ведь деньгами такое не оплатишь, и пошел опять к театру, а билет стоил уже тридцать пять рублей, тот же самый билет!.. Но как тебе спектакль и постановка, что скажешь? Правда, начинаешь понимать значение понятия «варварская» Россия? И это еще не первый состав – и солистов, и балета.

– Что, неужели бывает еще лучше? Не могу поверить, это было бы уже просто неприлично. Если бы мне кто сказал, что возможно то, что я нынче вечером увидел и услышал, я бы посчитал его вруном.

– Тогда ты еще немного повидал.

– Что? Да я слышал «Майстерзингеров»!..

– О, не говори мне об этих немцах, они просто не способны... Нет, они играют так слащаво, что начинает сочиться патока, и каждому школьнику понятно, что это всего лишь театр. Искусственность вместо искусства. Один фальшивый пафос. Там, где нужен громкий плач, у них одни брызги. Русскому театральность отвратительна, вообще все искусственное он ненавидит или смеется над ним. В театре он переживает свою собственную судьбу и судьбы своего народа, все, что его радует и от чего он столетиями страдает. Когда слушаешь Шаляпина, слышишь всю Россию. Русские потому такие замечательные артисты, что они не играют вовсе. Они знают, что настоящее искусство исходит изнутри, и не просто производится руками, ногами или горлом. Но это нужно пережить здесь, в России, не на заграничных гастролях. Там это как чучело вместо живой птицы.

– Где же они учатся так петь, танцевать и играть на сцене?

– Пение и танец – это способность врожденная. Русские приходят в этот мир с соловьиными голосами и с танцующими ногами, им просто необходимо петь и танцевать, это для них как воздух, и такая же часть жизни, как дыхание. Обрати внимание на улице: они не ходят, они танцуют. Утверждают даже, что за границей русские узнают друг друга по походке, еще до того, как услышат речь. Ты не заметил в Барановичах, что они поют и на полевых работах, и на реке, когда девушки стирают, носят воду и убирают комнаты? А по воскресеньям, разве не слышал, как они играют на гармошке и на балалайке, да еще и танцуют под музыку? Но дело не только в голосах, дело и в самих песнях. Далеко до них нашим альпийским парням Ангереру и Аттехоферу! Русским они и в подметки не годятся.

– Хорошо, я слышал это однажды и расчувствовался. Но петь по воскресеньям еще недостаточно, чтобы выступать в театре. Ты же не станешь меня в этом убеждать?

– Нет, для артистов существуют специальные школы. И там каждый год устраивают конкурсные прослушивания, в которых могут участвовать все, у кого хороший голос. И претен-

денты съезжаются отовсюду, со всех концов страны. Из них отбирают лучших и дают им образование – как музыкальное, так и общее. Но часто большие таланты открываются совершенно случайно. Цесевич, например, был простым слесарем и пел в церковном хоре. Этот народ до неприличия богат талантами, и не только в музыке. В каждом большом городе есть театральная школа или, как здесь говорят, студия, где обучаются молодые дарования. У нас в Киеве тоже есть такая студия, я туда часто ходил, ведь почти бесплатно, но скажу тебе, что многие, даже большие заграничные театры не могут похвастаться такими артистами, как здешние студенты. Конечно, всему нужно учиться, ничто не приходит само собой, по щучьему велению. Над этим работали многие поколения гениальных актеров, а теперь этот уровень уже стал традицией. Ты не заметил различия между тем, что видел до сих пор, и тем, что увидел сегодня?

– Да, действительно, заметил. Здесь просто забываешь, что находишься в театре. Я уже размышлял о том, что так трогает в русской музыке. Теперь я знаю: это душа народа, в ней вибрирующая и звучащая, как ты и говорил.

В конце представления его ожидал самый большой сюрприз. Как только опустился занавес, публика вся встала – только теперь стало видно, какое море людей было в зале – и началось:

– Цесевич! Це-се-вич! Це-сеее-вииич!!!

Раз за разом артист выходил на поклон – тот, что когда-то был слесарем – перед занавесом кланялся публике. Раз за разом его все более восторженно приветствовали, будто самого царя. И даже перед зданием театра слышны аплодисменты, топот и крики «Це-се-вич».

– Ну, что ты теперь скажешь? – спросил Штеттлер. Ребман пожал плечами и протянул вперед руку:

– Сам мне лучше скажи: это я одурманен или все они – там, в зале?

Штеттлер рассмеялся:

– Да нет, это не дурман, от которого к утру ничего не останется. Это большая глубокая любовь и почитание, с которыми русские относятся к своим артистам, и не только в театре. Просто здесь есть возможность в полной мере проявить свои чувства. Но уже сегодня ночью и завтра, и всю следующую неделю только и будет разговоров в конторах, лавках, дорогих магазинах, ресторанах о том, что они здесь видели, слышали и что при этом переживали. Ты себе даже не представляешь, как русские почитают людей искусства и какой у артистов высокий общественный статус. Они здесь знают, что художник без успеха не может существовать.

Ребман кивает: да, вот ему еще одно окошко открылось. Штеттлер тоже качает головой и говорит ему:

– Как бы я хотел еще хоть раз пережить все те прекрасные минуты, которые у тебя впереди, Бог свидетель!

– Эй, да ты тоже все это переживаешь, еще сильнее меня, ты же понимаешь язык много лучше!

– И все же это совсем не то. Первое впечатление всегда самое глубокое и самое прекрасное. Все другое забывается. А это – никогда.

По дороге домой – для доставки дам они взяли извозчика, а потом шли пешком – Штеттлер впервые сам заговорил об Орловых:

– А что, теперь вся семья в Барановичах?

– Нет, только Мадам и Полковник, конечно. Маньин и барчук – на Кавказе. Я в постоянном ожидании своего к ним отъезда.

– Ага, в дом Урусова. Можешь уже предвкушать удовольствие.

– От чего?

– Да так, местечко прескучнейшее. Принадлежало еще папаше мадам Потифер.

– Я не это именице имел в виду, а то, что в Пятигорске.

– Там курорт для сифилитиков, специально для офицеров русской императорской армии.

– Сифилитиков?

– Да-да, ты не ослышался! Это надо видеть: молодые ребята из аристократического общества – да еще и в форменных мундирах! – которые еле передвигаются сами или перевозятся в колясках. Все уже на последней стадии!

– А ландшафт, природа?

– Ничего особенного. Пыли наглотаться сможешь вволю. Да еще и попотеешь, даже если ничего не будешь делать.

– Пыль на Кавказе? Я думал, что там горы.

– Так и есть, но не такие, как у нас. Там не как в Альпах, где много зелени, луга, леса, ручьи и озера, там все высохшее и опустевшее, царские бюрократы полностью вырубili все леса на Кавказе. И почти безлюдно, не сравнить со Швейцарией ни в каком отношении. Но для тебя эта поездка может стать весьма интересной. Во всяком случае, этот край удастся увидеть лишь немногим.

Ребман оживился:

– Пропотею, говоришь? Это меня не пугает, мне приходилось работать до пота на обрезке виноградской лозы.

– Я тоже себя успокаивал, думал, что привык потеть. Пока туда не попал. Это тебе не какие-то там тридцать градусов! Там сорок пять в тени! Там мучаешься, как груша в духовке на решетке для сушки фруктов!

– А Маньин, в какой роли он выступает? Он действительно управляющий имением?

– Маньин? Сказать ли тебе правду? Он жиголо, который пользуется мадам Орлову. Старелая Мадам с ума от него сходит. Он как сыр в масле катается, живет по-княжески, паразит поганый. На таких альфонсов и слова тратить жалко, но этот свое дело знает. Еще раз тебе говорю: не засиживайся долго на этом месте, там ничему хорошему не научишься. Опасность, правда, невелика, больше полугода там никто не выдерживал. Они поэтому и условия о дорожных расходах поставили, обычно в России так не делается.

Тем временем они вышли на Крещатик.

– А народу-то сколько, – удивился Ребман, – как будто в праздник!

– Да, в России день, и вправду, начинается уже с полуночи, особенно весной. Ты этому еще научишься, дружище!

Глава 12

В понедельник утром, когда Ребман уже собирался на вокзал, пришла телеграмма от мадам Орловой: ему не нужно выезжать, она в полдень сама приедет в Киев, поезд прибывает в 12.30.

– Я, очевидно, должен ее встретить, раз она указывает точное время прибытия поезда? – справился Ребман у мадам Проскуриной.

– Само собой разумеется.

– А что же случилось?

– Что может случиться? Ровным счетом ничего! Она половину времени проводит в городе, круглый год снимает комнаты в отеле. Приезжает в Киев за покупками.

На этот раз Ребман не узнал бы свою «хозяйку», если бы она сама не подошла к нему с приветствием. Вся в белоснежном с головы до ног: белая шляпа с перьями, белое пальто до полу, из-под которого видны белые туфли, и белые перчатки.

Вместе с Ребманом Мадам сразу поехала в отель. Заказала для обоих обед в номера. Когда поели, она сообщила таким обыденным тоном, словно речь шла о том, что куры в Барановичах снова начали нестись:

– Завтра вы отправляетесь на Кавказ. Месье Эмиль не может больше там оставаться с Пьером один.

Ребман ошарашен:

– Но у меня ничего нет собой, все мои вещи остались в Барановичах!

– Вы должны будете привыкнуть к тому, что в любую минуту нужно быть готовым отправиться в дорогу, – смеется Мадам, – все самое необходимое вы можете купить здесь, в Киеве.

Теперь уже Ребман смеется, и вместо ответа он потирает большим пальцем руки указательный. Мадам догадалась:

– Нет денег? Об этом не беспокойтесь, ладно?

Нет, с полутора рублями в кармане это невозможно. Кроме того, он задолжал мадам Проскуриной, и вообще он со времени своего прибытия в Россию совершенно не имеет средств к существованию.

– Почему же вы сразу ничего не сказали? Занимать деньги у других просто неприлично!

– Я никогда не умел просить денег, – извинился Ребман, – просто не могу и все тут.

– А у мадам Проскуриной, значит, можете?

– Ну, это другое дело... Мадам Проскурина, она мне как мать.

– А я, кто же я вам тогда? – с упреком в глазах спросила хозяйка. – Знаете ли вы о том, месье Ребман, что отношусь я к вам с большой симпатией? Никогда впредь не забывайте об этом!

Она берет телефонную трубку и заказывает номер. Говорит довольно долго, видимо, ее соединили с железнодорожной кассой. Когда она заказывала билет для Ребмана, он разобрал слова «Пятигорск» и «плацкарта» и в конце еще имя Мадам и название отеля. Закончив с этим, она сама отправилась с ним в город за покупками, взяла извозчика и купила все, что ему, по ее мнению, было необходимо взять с собой. Она сама за все расплачивалась, а под конец положила ему в руку еще и пятидесятирублевую купюру, добавив по-французски:

– Немедленно верните мадам Проскуриной все, что вы у нее взяли. И никогда больше не делайте таких вещей!

– Когда же я выезжаю? – спросил Ребман, когда они вернулись в отель.

– Сейчас я как раз узнаю.

В этот момент к ней подошел портье и с почтительным поклоном протянул листок бумаги.

– Ах, так я и думала. На сегодняшний вечерний поезд уже нет мест. Что ж, в таком случае поедете только завтра вечером.

– А когда я туда прибуду?

– Поездка длится два дня и две ночи, – говорит Мадам и объясняет ему маршрут: Черкассы – Кременчуг – Екатеринослав, это все еще на Днепре. Затем поезд поворачивает и идет по южнорусской степи до Ростова-на-Дону. Оттуда вторую ночь через Армавир до Минеральных Вод. И в Минеральных Водах вам нужно пересестись. Оттуда до Пятигорска всего полчаса.

Когда он вернулся в Дом и сообщил новость, все его поздравили. Мадам Проскурина даже прямо назвала Ребмана везунчиком:

– Я уже скоро сорок лет, как живу в России, а еще ни разу не выезжала за пределы Киевской губернии. А вы, когда доживете до моего возраста, наверняка, повидаете уже весь мир.

На следующее утро Ребман уже в десять часов был в гостинице. Мадам его ждала в половине одиннадцатого, но она уже встала, сидела за столом, на котором лежала целая пачка корреспонденции.

– Хорошо, что вы пришли, – говорит она. – Вы уже завтракали?

Ребман кивнул в ответ:

– Да, конечно, уже давно.

– Вкусно и обильно?

– Да, и обильно, и вкусно.

– У вас впереди долгая дорога. Садитесь, я хочу передать с вами письмо для месье Эмиля. Она открыла ящик стола и достала писчую бумагу и конверт со своим фамильным гербом. Судя по всему, она здесь у себя дома. Начала писать, при этом опираясь на столешницу не всей рукой, а только мизинцем. А Ребман сидел на стуле и наблюдал за нею.

«Удивительно, – думал он, – перо само по себе пишет по-русски, так мягко и округло ходит оно по бумаге и выводит крупные, ровные буквы, полную противоположность тем детским каракулям, которые мне нацарапали в паспорте».

Мадам исписала двенадцать листов, полных двенадцать листов! Когда Ребман мельком на нее взглянул, он заметил на ее лице гримасу, будто от сильной боли. Но вот она все еще раз перечитала, аккуратно сложила, вложила в конверт, смочила мизинцем клей по внутреннему краю конверта, надписала адрес:

– Вот, передайте это ему. Я еще буду телеграфировать, чтобы он вас встретил. На всякий случай, запишите название нашего дома. Если месье Эмиль не сможет прибыть на вокзал или вы друг с другом разминетесь, возьмите извозчика и просто скажите: «Дом Урусова». Это дом моего отца. И по дороге ни с кем не связывайтесь, вы еще недостаточно хорошо знаете людей, обычаи, порядки, да и язык. В поезде вы сможете поесть, там есть вагон-ресторан или перекусите на остановках. На вокзалах всегда достаточно времени, чтобы купить что-нибудь или даже поесть в буфете. Только никогда не расплачивайтесь с официантом крупной купюрой – положенной сдачи вы уже не увидите. И еще, обращайтесь внимание на сигналы к отправлению. Вы ведь их уже знаете. Я вас провожу к поезду, тогда и я буду уверена, что вы сели в тот, что нужно.

По дороге на вокзал Мадам остановила извозчика у магазина с деликатесами. Вышла она оттуда с большим пакетом, который вручила Ребману:

– Вот, возьмите, чтобы у вас хоть что-то было с собой на дорогу. У нас не принято отправляться в дальний путь без провизии.

И вот он едет на Кавказ.

Перед тем как сесть в поезд, Ребман вежливо поблагодарил Мадам за то, что она так о нем заботится, и передал привет господину Полковнику и Татьяне Петровне. И если это не затруднит, он просил бы прислать ему кое-что из его вещей.

Затем он еще осмотрел поезд, любовался красивыми вагонами с надписью «Киев – Баку»: голубыми – первого класса и красно-коричневыми – второго.

Людей огромное множество, мельтешат, как блохи, места все до одного заняты. И беспорядочный хаос среди вещей: целые кровати, чайники, самовары, чего тут только не было! Как будто все пассажиры отправлялись в кругосветное путешествие.

В купе напротив него сидел еврей – это Ребман определил с первого взгляда. В сидячем положении, если не считать носа и ушей, он выглядел так же, как и все остальные. Но когда вставал, был похож на мальчика, который явился к первому причастию в отцовском пиджаке.

После продолжительного молчания сосед решил заговорить с Ребманом: спросил, сначала по-русски, куда тот направляется. Не получив ответа, он повторил вопрос по-немецки. Затем по-французски. По-английски. В конце концов даже на идише.

Но Ребман подумал: «Из-за них у меня было столько неприятностей, я опозорился на весь мир! Теперь мне на них всех вместе взятых плевать с высокой горы». И так и не ответил. Тогда и еврей замолчал. И они молча продолжали смотреть в окно. А там ничего особенного или нового. Ландшафт такой же, как между Волочиским и Киевом и за Барановичами: одни холмы, один за другим, и редко когда – станция, за которой вдаль виднеется деревенька или городок. Никаких домов не видать.

Эта страна словно море, ни конца, ни края!

Поначалу он обрадовался, когда Мадам сказала, что он проведет в дороге целых два дня, наверняка можно будет многое увидеть! Теперь он уже не рад, дорога ужасно скучна.

Приблизительно через три часа поезд остановился на маленьком полустанке.

– Что случилось? – спросил пассажир у кондуктора, который один сошел на перрон.

– Надо пропустить встречный поезд, который идет с опозданием.

Ребман ухмыльнулся: он все понял: «А мой русский все же продвигается!».

Он опустил оконное стекло. В глубине вокзала стояла кучка крестьян, мужиков и баб, с большими котомками на спинах. Они все глазели на поезд.

Около пяти они приехали на большую станцию, где остановились на четверть часа, чтобы сменить локомотив.

И тут все куда-то бросились бегом, одни – с чайниками набрать кипятку. Его можно на всех больших станциях получить бесплатно, для этого есть особые источники. Об этом вчера сообщила мамаша Проскурина, когда они обсуждали предстоящую поездку. Другие пассажиры кинулись что-то покупать, а третьи – просто выбежали поразмяться.

Ребман тоже вышел. Он до этого уже распаковал сверток, который ему дала с собой мадам Орлова, и обнаружил в нем великолепный ужин: белый хлеб с ветчиной, половинки инжира и плитку шоколаду. Теперь он гоголем прохаживается по перрону, курит, время от времени поглядывая на свой вагон: не собирается ли тот везти его дальше. На соседнем пути, около деревянной цистерны, которая стоит на высоком железном постаменте, локомотив набирает воду. Воду качают прямо из земли с помощью ветряного колеса. И в самом деле, откуда же взяться ручьям, если вокруг ни одной горы!

Они едут дальше.

И тут дорога становится еще мучительней. Смотреть в окно бессмысленно – все одно и то же. Общения тоже не получилось. Читать невозможно. У него, правда, с собой даже книга была, что-то из Достоевского, которую ему дала девица Титания для внимательного изучения, Достоевский, мол, в России всегда пригодится. Но он не может его читать при всем желании. Теперь он понял, почему все русские книги столь меланхоличны. Здесь сама природа навеивает тоску. Нет, сейчас он не станет читать ничего русского, даже в немецком или французском переводе.

Около восьмого часа поезд снова остановился на большой станции. Название прочесть невозможно, все буквы размыло непогодой, а когда кондуктор объявлял, Ребман как раз задремал.

Сосед-еврей спросил, не желает ли он выйти поужинать или, может, ему что-нибудь принести? Здесь хороший ресторан, и это последняя возможность раздобыть что-нибудь до завтрашнего утра:

– Хотите супу? Может быть, мяса? Или рыбы?

Кажется, он всерьез беспокоится о незнакомом юноше-чужестранце, который ему даже не удосужился ответить на приветствие.

«В конце концов, – подумал Ребман, – если это последняя возможность, я лучше тоже сойду».

И выходит из вагона. Не обращая внимания на еврея, отправляется в буфет, заказывает борщ, кулебяку с мясом и рубленые котлетки – все слова он уже знал. Ему действительно принесли именно то, что он заказал, и он с аппетитом поел. Кончив есть и желая расплатиться, он обнаружил, что у него нет мелочи, ничего, кроме красивой десятирублевки от мадам Орловой.

«Ну не могут же все официанты быть мошенниками, тогда бы и профессии такой бы не было! Дам-ка ему эту бумажку – и поглядим!»

И он сделал знак половому.

– Сию минуту! – услышал он в ответ.

Когда прозвонил первый звонок, Ребман снова махнул рукой, уже энергичнее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.